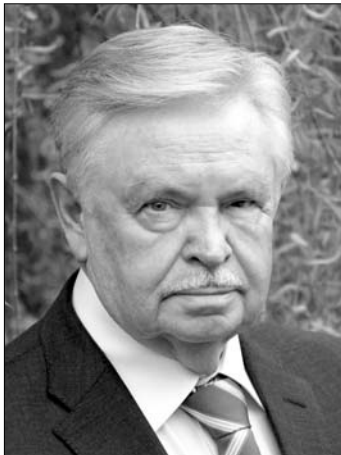


АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ



ОГЛЯНИСЬ НА ПОВОРОТЕ,  
ИЛИ  
ХРОНИКА ЗАБЫТОГО ВРЕМЕНИ

РОМАН В ПОВЕСТЯХ

*Оглянись, незнакомый прохожий,  
Мне твой взгляд неподкупный знаком,  
Может, я это, только моложе...  
Не всегда мы себя узнаём.*

Николай Добронравов

Повесть первая

ОТПЛЫТИЕ

1

Осмелюсь утверждать: всемирные сдвиги — кроме, конечно, войн, — совершаются незаметно, вкрадчиво, будто незримый вершитель передвигается во времени и пространстве, надев мягкие домашние тапочки. Вот ведь жакнул разрыв над страной, умер Сталин, и все сперва напугались новой войны,

---

*ЛИХАНОВ Альберт Анатольевич родился в 1935 году в г. Кирове. Окончил Уральский государственный университет им. Горького. Автор многих книг. Лауреат Государственной премии России, премии Ленинского комсомола, международных премий им. Я. Корчака, М. Горького. Удостоен премии Президента РФ в области образования и премии Правительства РФ в области культуры. Председатель Российского детского фонда, президент Международной ассоциации детских фондов. Академик Российской академии образования. Живёт в Москве.*

а потом, через месяц-другой, подуспокоились, а тут выпускные экзамены в школах, вечера с аттестатами, танцы с девчонками, своими и приглашёнными, и выбор будущего — без особых примерок. Ходят рассуждения про хороших инженеров — везде нужны! — значит, надо подавать в политехнический. Только город выбери правильно.

Наша школа дружно присягнула Ленинграду. Лишь избранные собрались в Москву. Я не только восток избрал, а и профессию почти никому непонятную, с сомнением.

## 2

Всё это вместе взятое, конечно, ни на какие сдвиги не намекало. Но опытный батяня сказал, что это только так кажется, и мы присутствуем при великом переселении народов, вызванном войной. Так что, заметил он, у нас с мамой легкомысленные представления о действительности, и на вокзале стоят недельные очереди. Поезда даже мимо нашего довольно приметного города идут проходящие, забитые народом что от Москвы на восток, что с востока на Москву, и надо сильно подумать, как засунуть меня в такой пробегающий мимо поезд, который и остановится-то у нас самое большее минут на двадцать.

Положение казалось безвыходным, но скоро мама сообщила, что ещё не всё потеряно, а у нашей лучшей знакомой тёти Лены есть ещё знакомые, а у тех знакомых — знакомый Герой Советского Союза.

— И что? — настороженно удивилась бабушка.

— Да Героям-то билеты дают без очереди, — сказал отец, понимающий толк в деле. — Только как он прорвётся к кассе? Знаете, что там творится?

Сказать по правде, с военных времён жизнь менялась отчаянно быстро и не всегда понятно, в какую сторону. Я знал, что станционный перрон, как всегда, чист и прибран: встречающих туда пускали по билетам перронным, а отъезжающих — по билетам проездным. Но как теперь выглядел сам вокзал? Что там происходило?

Мы не поленились, и слегка приодевшийся отец, мама и я поехали на троллейбусе до вокзала. Как только вышли, надежда моя обессиленно зашаталась.

Одноэтажный наш вокзал был до войны нарядно белым, а теперь, к пятьдесят третьему, оказался двухцветным. Со стороны путей, я знал, всё по-прежнему, гляделось сносно. Но городская сторона, где был вход в билетный зал, до пояса посерела. Я не сразу дотумкал, что это его обтёрли человеческие спины и, наверное, бока: люди стояли, прижавшись к вокзальной стене, а прислоняться к ней требовалось по двум причинам — от усталости и для того, чтобы не протолкнуться, не пропёр, не продавил какой-нибудь безочерёдный нахалюга.

Люди стояли впритык друг к другу и занимали всю привокзальную площадь. Но это был кажущийся хаос. Когда мы подошли к тем, кто находился с краю, нам объяснили, что тут два хвоста.

Один — из желающих уехать к Москве, и он короче; другой — длиннее — на восток. Но и в нём есть свои особенности. До Перми народу больше, но уезжают быстрее — чаще идут поезда; до Урала народа много, потому что там пересадки на юг и на север, но на эти же поезда садятся и пермские. И уже совсем отчего-то много пассажиров на самый что ни на есть Дальний Восток.

Мама удивилась этому, а худой мужчина в гимнастёрке без погон и медалей пояснил, что на Восток едет много людей из мест западнее, южнее, севернее Москвы, сперва съезжаются туда, берут билеты на дальние поезда и тогда редкий пассажир сойдёт у нас. Прямо беда! Ведь чтобы кто-то сел, надо, чтобы другой-то сошёл! Этому дядьке требовалось во Владивосток, и он стоял тут третью ночь.

Разве не переселение народов?

И вот мама с отцом собрались в гости к Герою.

Мама культурно обернула газеткой магазинную бутылку, отец нарезал неказистых цветов.

Поскрипывая сапогами и покачиваясь в неразношенных лодочках, они удалились, а к вечеру возникли почти счастливыми.

Мама обтерла чемодан, с которым отец вернулся из Маньчжурии, выставила его на стул посреди комнаты, а бабушка затряслась и схватилась за подбородок, сдерживая слёзы.

— Ну? — воскликнул отец. — Едет не на каторгу!

Отправляться мне предстояло назавтра, договорённость с Героем достигнута была накануне, а расписание поездов, которое мама переписала на вокзале синим толстым карандашом, было испещрено крестиками и галочками.

Герой за мою отpravку брался, но поскольку работал на заводе хотя и небольшим каким-то, но всё же начальником, отлучиться почти на целый день мог только в воскресенье.

Завтра и было это воскресенье. А следующее наступало через неделю. Вызов на экзамены, пришедший мне в виде половинки странички в шершавом конверте, назначал дату явки на промежуток между двумя выходными.

Будто колокол грянул в моей небольшой голове. Ещё сутки, и я останусь наедине с собой. Управлюсь ли? Туда ли еду? Ту ли дорогу выбираю?

Я вышел со двора, сказавшись, что пройду немного по любимым улицам, но ничего тогда вокруг себя так и не заметил.

Конечно, я рвался к тому, что мне казалось моим выбором. И маленький альбомчик был готов, куда вклеены были мои первые газетные заметки. И рекомендательное письмо из редакции. А я содрогался и не мог понять, где моя отвага, а где глупость? Всё это вместе взятое называется неуверенностью.

В свои семнадцать лет, даже слегка ощутив войну, я всё-таки был простым домашним котёнком.

Бывало, оставшись дома один, читал стихи в полный голос, будто артист на какой-то большой сцене. Громко высказывал мнения, в общем-то, вычитанные в классических сочинениях, словно знаменитый профессор. А устав от собственной напыщенности, сворачивался калачиком на кровати и только что не мурлыкал, как кот мой Тимошка: строил в мечтах воздушные замки, которые разлетались в прах при первом же лёгком дуновении действительности.

Ещё я любил становиться вверх ногами. Встанешь возле шифоньера, постоишь, прислонясь пятками к его дверце, потом вернёшься в обычное состояние. И сразу приходят свежие мысли. Кровь приливает и, наверное, приносит их, а?

Вот таким я был в первые недели после школы: смесь оптимизма и неуверенности, страха и отваги. Но и взрослого понимания: назад ходу нет!

А пока я свершал прощальный круговорот по родным околоткам, мама и бабушка обтёрли фанерный чемодан тряпицей, будто умыли. Принялись меня собирать, то всхлипывая, то смеясь.

Тот фронтовой чемодан, с которым отец вышел из войны, был сбит из какой-то на редкость толстой и сухой фанеры, покрашен в обыкновенный серый цвет, каким красят ящики для артиллерийских приборов, и имел простецкий, на один поворот ключа, замок. Его, наверное, можно было просто открыть загнутым гвоздём.

Но кто на такой чемоданишко позарится? В эпоху рыночных карманников, уличных щипачей и легенд о грабителях даже самый непонятливый соображал, что ничто ценного в фанерных чемоданах не перевозят. Всё имущество и состояло из трёх частей “Истории СССР”, учебников литературы, русского, географии и французского плюс кое-какие тетради, а сверху — трусов, носков, маечек да штук трёх, пожалуй, небелых рубашек — чтобы реже стирать.

Серый друг, передаваемый мне отцом по наследству, снарядился в минуты, но так и стоял открытым на стуле. Женщины не спешили его закрывать — вдруг ещё что-то забыто. Но мысли их были куда тоньше — теперь-то я это понимаю.

Пока чемодан не закрыт, ещё есть время пособираться, похлопотать, поразговаривать о том и о сём, что прямого отношения к отъезду не имеет, но означает тайный ритуал беспокойства и приготовления. А щёлкнул замок — всё.

*Но пока не щёлкнул замок того чемодана, из времён уже нынешних хочу попросить у тебя прощения, мой верный друг! Прости меня!*

*Ты служил надёжно и прочно, как ко всему готовый солдат. Ни разу ты не треснул нигде, не надломился, проучился со мной пять долгих лет, принимая в нутро и нечистое бельишко моё до стирки, и высокоумные конспекты классиков марксизма-ленинизма, и, бывало, чуть позже, кое-какие продуктишки в тебе ночевали по соседству со спортивными штанами, когда я ехал в дальние дали.*

*Ну, а потом на смену тебе явилось нечто из фибры, с железными углами, и ты удалился на отдых, улёгся на родительский чердак, а далее и вовсе ушёл в небытие. Кроме памяти моей.*

*А потому, пока есть я, жив в моей памяти и ты, серый чемодан — отцовское фронтовое наследство.*

*Слабоватое, но всё-таки утешение...*

Ну, а в тот вечер, при раскрытом чемодане, бабушка взялась за ещё одно важное предпутевое занятие. Поверх рубашек я всегда надевал курточку фасона “московка” — кокетка из тёмно-коричневой ткани сверху, а все остальное — такая же ткань, только посветлей. У ворота — короткая “молния”, чтобы только, чуть раскрыв её, голова проходила — страшный дефицит были эти “молнии”. Словом, бабушка отняла у меня “московку” и стала колдовать над ней. В конце труда своего пристроила изнутри моей курточки внутренний карман. Он застёгивался на отдельно пришитую пуговицу и предназначался для паспорта, аттестата зрелости, согнутого вчетверо, и денег.

На прощанье наставила:

— В поезде ночью не снимай! Под голову не клади! Нигде не бросай!

## 5

Воскресным утром начался штурм.

Героя, скажу честно, я совершенно не запомнил. Как и он не обратил на меня ровно никакого внимания. Взрослые договорились между собой, а я мог оставаться предметом неодушевлённым. Когда мама с отцом и я с чемоданом прибывли к вокзалу, он, лишь кивнув мне, взял у мамы листочек расписания поездов, деньги и двинулся к двери, запруженной народом.

Отец заторопился следом, но Герой его остановил:

— Слушай, ты в штатском. Только пуговицы оторвут — и вся любовь!

Сам он был в гимнастёрке с майорскими погонами и, конечно, сверкающей звездой.

Мы стояли с краю толпы и следили, как наш Герой довольно беспрепятственно её рассекает. Увидев человека в форме, да ещё с такой наградой, люди расступались, пока он не добрался до ступенек. А там была неподвижная человеческая пробка, как в бутылке. Люди стояли, не двигаясь, а шевеление рядов происходило только в особенных случаях. Но минут за двадцать до прихода поезда пробка проскакивала вовнутрь, кассы продавали билеты на освобождающиеся места, если таковые объявлялись. И ещё очередь ожидала, если вдруг приезжал наряд милиции — по заказу кассирш этих, что ли? Или ихних начальников? Мильтоны требовали освободить ступеньки и даже всё, что там было внутри. Двери закрывали, туда пробирались тётки со швабрами. Воняло хлоркой.

Вот перед этой процедурой на площади и начиналось настоящее волнение. Народ, выпертый из кассового зала, отступал на улицу, очередь расстра-

ивалась, очередники теряли, кто за кем стоял, начинался ор и колыхание душ. Постепенно, хоть и со слезами, криками, матом, волнение утихало.

А Герой с майорскими погонами оказался настоящим! Мы издали увидели, как он локтями растолкал пробку при входе и исчез во тьме распахнутых врат ада.

Мы были на обочине, мама присела на чемодан, а я приблизился к отцу. Мне хотелось к нему прислониться, но это получилось бы слишком по-детски — я ведь уже взрослый, уезжаю в институт.

И давно ли я приходил на этот вокзал узнать, когда придёт поезд с отцом из Маньчжурии! Давно ли скрипнула калитка, и он вошёл — с вещмешком на плече и со своим этим фанерным чемоданом в руке.

Я подумал, что в ту пору всё-таки не было столько народу! После войны народ ещё чего-то ждал, наверное. Но вот ведь немало лет прошло, как война-то кончилась, и тут все поехали? Куда? Зачем так много?

Люди на тогдашней громадной площади, стоявшие в кассы, одеты были плохо: женщины — в неновые платья (откуда новые?), мужчины — в затёртые пиджаки, несвежую обувь. И невесело они вместе-то выглядели, разве кто спяну хохотнёт. И всё же эта серая цветом толпа бродила, как бродит брага, — каким-то нетерпением. Ведь каждый, кто стоял тут, собрался переместиться в другое место, выбрал ему известную цель и теперь к ней стремился, одолевая препятствия в виде бесконечной, вынужденной очереди.

— Куда они все? — спросил я не столько отца, сколько самого себя. А он ответил:

— Рыба ищет где глубже, сынок. А человек — где лучше.

## 6

Мы стояли, мы ходили вокруг серого чемодана, а Герой не возвращался. Мы не отрывали взгляды от входа, и один раз милиция освободила помещение, создав воронку из страждущих очередников, а тётки с ведрами и швабрами строем продрались сквозь людей. Однако Герой не вышел и тогда.

Похоже, к перрону подошли сразу два поезда, следующие в противоположных направлениях, но очередь лишь чуточку всколыхнулась: значит, места не освободились. Никто, выходит, не стремился в наши благословенные края.

Опять всё обездвижело. Где-то вдалеке взвизгивала маневровая кукушка и гулко бились буферами товарные вагоны.

И вот в это, вдруг как-то притихшее время пробка шевельнулась и выпустила на площадь нашего Героя. Пока он пробирался к нам, раза два поправил офицерскую свою фуражку, заправил за ремень гимнастёрку. Подошёл совершенно спокойный — только беспокойной была звёздочка на его груди. Она перевернулась спинкой кверху, и мне хотелось её поправить или сказать ему об этом.

— Ну, — проговорил он бодро, — отделались легко! Сейчас подойдёт поезд. Вагон общий! Может, придётся всю дорогу сидеть, лежачих мест нет! Извините!

Вот когда узнаёшь, что такое настоящие люди. Я трепыхался, как воробей в ладони, молча кивал головой, готовый к любым испытаниям, а мама протянула руку и поправила Герою его звёздочку.

— А! — махнул он рукой. — Сколько всего-то? — глянул на часы. — Уже три! — Повторил: — Отделались легко!

И протянул мне маленький картонный прямоугольник, прибавив с усмешкой:

— Смотри, не потеряй! Пока не приедешь!

Не знаю, как и описать всё, что произошло дальше. Поезд во главе с паровозом “ИС”, то есть “Иосиф Сталин”, погромыхая, вступил на нашу станцию, солидно протащил вагоны до нужного места, и мы вчетвером, во главе с Героем быстро достигли искомой ступеньки, ведущей в зев жаркого короба. Но не тут-то было.

Из него, не пропуская нас, вниз кинулась цепь разнообразного народа. Сначала полуголые или одетые в майки мужики с чайниками, потом женщины помоложе, за ними старухи. У кранов, торчащих из стены какого-то перронного сооружения, лилась вода для питья, и там опять собралась толпа.

Только пропустив вереницу жаждущих, Герой вспрыгнул на ступеньку и протянул руку за моим чемоданом. Проводница со свёрнутыми флажками в руке, увидев Героя, запричитала, закудаhtала:

— Ой, товарищ майор, да у нас и ни одного лежачего-то места нет! Всё битком!

Она двигалась вдоль вагона, а справа и слева то верещали дети, то хохотали тётки нерусской наружности, может, цыганки, а в одном проёме два мужика резались в карты.

— А третьи полки есть? — командным голосом спросил мой Герой.

— Багажные?

— Багаж сдвинуть, место освободить! — скомандовал мой покровитель, встал на одну из нижних полок, с верхней перекинул на другую какие-то котомки, умяв их как следует. На свободную багажную полку закинул мой чемодан.

— Товарищ Герой, — заботилась проводница, — ну, я вас попозже пересажу!

— Еду не я! — отрезал майор. — А молодой человек!

И прибавил такое, что я похолодел:

— Обеспечьте безопасность!

Герой велел мне занимать место на третьей полке немедленно, что я и сделал, улёгся под самым потолком. А мама-то с отцом ведь были на перроне! Полуголые мужики с чайниками возвращались обратно, с хохотом и матом, отталкивая нерешительных локтями. Но Герой, видать, выходя из вагона, остановил их, и мама с отцом пришли ко мне. Я спрыгнул вниз, мы обнялись. Мама заплакала.

— Он так и будет? На голой полке? Без подушки?

— Ну, тут ехать, — смутился отец, — меньше суток. Выдержишь, сынок?

Я улыбался. И прижался к ним — к маме и к отцу. Но только на мгновение, ведь я был, в общем, взрослый человек.

Мужики и тётки с чайниками в руках обходили нас, толкали моих провожающих, и я стал поторапливать их.

Когда поезд лязгнул своими железными суставами, я запоздало сообразил, что даже не поблагодарил моего великодушного Героя.

## 7

Может, мне передались женские страхи — ведь я ехал первый раз в жизни один, в душном и шумном вагоне, опасном людьми, его населявшими. Слышались восклицания, может быть, и весёлые, но непомерно громкие, вспыхивали детские крики, перебивали друг друга бабьи споры.

Правда, меня это не очень достигало. Я был приравнен к багажу, и мне начинало нравиться моё положение. Я разглядывал железный потолок, нависший надо мной, — окно и даже вторая полка располагались гораздо ниже, — и мысли мои гуляли, как маленькие и, может, даже слепые новорождённые котята, тыкаясь друг в друга и издавая неслышимый миру писк.

Я чего-то очень желал, но не мог понять — чего. Вернуться домой, под крылья хлопотуньи-бабушки и всегда беспокойной мамы? Нет, не для этого я уезжал — отъезд мой был сочинён мной самим. Благополучно сдать экзамены? Конечно, ради чего тогда эти хлопоты? Мне бы, взрослому парню, подумать, что произойдёт, если не поступлю, но — странное дело! — сознание не позволяло переходить какие-то незримые черты возможных поражений.

Я пытался возвратиться в мыслях к друзьям и одноклассникам, которые кто разбегался, как я, поступать, кто ещё не добрался до края школы

и с почтением взирал нам вослед, ожидая сообщений о том, кто чего стоит. Но они меня совершенно не задевали. Я внятно и совсем по-взрослому понимал, что сейчас каждый ответит за себя, а раз все мои дружки наладились в технические знания, я забыл о них, будто и не был с ними знаком. Надо же, какая амнезия!

В общем, вагон покачивало, потряхивало, стенки его довоенные поскрипывали, а мне ни о чём не думалось. И вот только теперь, спустя целую жизнь, я полагаю, что это была мудрая благодать.

Да, я ни о чём не думал, ни о чём не тревожился, и только неопытностью это нельзя объяснить. Молодое, ещё ничем не траченное тело встряхивалось на багажной полке и было безмятежным, приурочиваясь к будущему.

Перемещение народов, судя по всему, происходило не только во времени и пространстве, что утверждала жизнь нашего вагона. Но ещё и в собственной глубине.

Из детства, ни о чём не тревожась, я окончательно переезжал в юность — иную часть бытия. Из одного состояния я переходил в состояние совсем другое.

## 8

Переход этот оказался отнюдь не философским, не умственным, а грубым и материальным. И состоялся ночью.

Поезд прибыл где-то около двух ночи, дальше не шёл, и народ отчего-то молча и сосредоточенно, без оживлённого тарабара, стал ловко освобождать пространство.

Я не спешил, до утра было далеко и меня никто не встречал. В заднем кармане моих брюк, тоже под пуговкой, таилась бумажка, на которой указывался номер трамвая, потом улица, номер дома и квартиры старушки Елизаветы Михайловны, опять же дальней родственницы всё той же вездесущей маминной подруги тёти Лены. Переться к старушке ночью казалось мне совершенно неучтивым, и я предполагал сдать чемодан в камеру хранения, переночевать на вокзале, а уж утром...

Поэтому без всякой спешки, отстав от толпы, я понёс свой чемодан по слабо освещённому тоннелю в неясную для меня сторону, когда вдруг ко мне подскочил не совсем трезвый мужик в казённом фартуке и с бляхой на груди.

Схватив мой чемодан за бока, — ручку-то я не отпустил! — он воскликнул что-то повелительное и поволок меня к огромным весам. Четверо или пятеро таких же, похожих на бандюков, но с бляхами, мужчин галдели, отпуская от весов некоторых других пассажиров, в особенности старух, а мне этот нетрезвый работник громко крикнул:

— Разрешается бесплатно двадцать кило. У тебя тридцать. Доплати двадцать пять рублей.

Лирические наваждения отпустили меня. Растерянный, я спросил:

— Куда платить?

— В кассу! — задорно ответил тот.

— А где касса?

— В здании вокзала, на первом этаже. Чемоданчик придётся оставить.

Я сразу понял, что меня прищемили. Оставить чемодан, уйти в кассу, а потом? Мордатый подсказал:

— Можно поближе!

— Как? — спросил я, всё ещё наивный.

— А прямо сюда! — проговорил он, хлопнув доходчиво себя по пузу.

Вот он — момент перехода из одного состояния в другое! Обыкновенный факт перемещения народов, который не может не сопровождаться кому — потерями, кому — находками.

В первый раз я практически ощутил бабушкину мудрость. Распахнул ворот "московки", отстегнул пуговку, зашившую внутренний карман, и на ощупь выбрал денежку размером поменьше. Это был тогдашний голубой четвертной банковский билет с портретом Ильича.

Я протянул ассигнацию хаму с бляхой, тот хапнул её мгновенным и тренированным движением и скинул чемодан на асфальт так, что тот должен был, наверное, расколоться. Но он выдержал, молодчик, как, впрочем, и я.

Очереди в камеру хранения не было, и там тоже орудовали крепкие мужики. Цена тут, однако, была снисходительна к пассажирам, наверное, потому, что вместо чемодана выдавалась бумажка с номером, и, заплатив какую-то мелочь, я оказался совершенно свободен.

Ночь была как ночь, на огромной площади возле вокзала скучал ряд невостребованных такси с зелёными огоньками, зато сам вокзал сиял дворцовыми окнами, будто там совершался великолепный бал. Конечно! Тот самый бал, куда *много званых, но мало избранных!*

Я вступил в него, и мне показалось, что я вошёл в громадный вагон: тот же смрад, тяжёлая духота, ароматы несвежих портянок и немытого туалета. Всюду стояли громадные лавки совершенно могущественного вида. Коричневые, с толстенными и просторными площадками для сиденья и даже вещей и с такими же спинками, они могли выдержать, наверное, целую толпу самых тяжёлых пассажиров. Только таких здесь не было, а сидело множество тощих и худых, с сумками и мешками, которые стояли и лежали у них под спиной, под локтями, а то и на полу, прямо под ногами.

И все они спали, будто в какой-то страшной сказке!

Ну, некоторые не спали всё-таки. То одна, то другая тётка уторкивали младенцев, кормили их из кружек или грудью. Но все остальные дрыхли. Некоторые ещё и храпели.

Я постоял в одном зале — все места оказались заняты. Перешёл в другой, поменьше. Ни одного места на лавках! В третьем зале я увидел каменную лестницу, расположенную подковой, и её ступеньки, особенно те, что повыше, были свободны. Я поднялся туда, сел, прижался к каменным же перилам.

Зал освещался ярко, даже празднично, но то, что освещалось, навевало тоску.

Мне показалось даже, что это люди с привокзальной площади нашего городка каким-то волшебным образом переместились сюда. Только расстегнулись, рассупонились, развязали ремешки и тесёмки, устроили рядом с собой своё барахло. Один спит, запрокинув голову, а ноги взгромоздив на тугой мешок. Женщина обняла чемодан и опустила на него голову. Старуха положила голову на колени молодой женщине. И все эти люди, как и я, одеты в одежды тёмного цвета. Ничего красного, ничего голубого, зелёного, жёлтого, хотя живём на яркой земле — только чёрное, коричневое и серое. Но зачем же тогда такой дворец под вокзал?

И ещё я грешным и совсем не детским умом подумал: вот бы нарисовал всё это хороший художник! Все эти согнутые фигуры, эти чемоданишки, мешки, сумки и шеи... Лица с закрытыми глазами. Будто какое-то предсмертие...

Копаясь в своих размышлениях, я не сразу заметил, что к спящим, особенно на лестнице, где я сидел, осторожно подсаживаются молодые ребята в кепаках. И ещё девчонки. Сверху всё было хорошо видно, и тут я похолодел. Да ведь они воруют! Лезут пальцами в карманы! У кого-то что-то достают. От других отходят впустую.

Я остолбенело разглядывал сверху шайку, похожую на кучку неслышных теней. Оттого, что был наверху и глядел им в спины, я так и не увидел ни одного лица — только затылки, пучки волос, затянутые шпильками, ну, разве щёку видно со спины. Я видел, как они тихо прокатились по залу. Сверкнуло лезвие — раньше я слышал от кого-то, что вырезают карманы. Гибкие, ловкие, торопливые воры даже шелеста не издав, исчезли, будто наваждение.

Я сидел, затаив дыхание. Полегоньку успокоился, ведь мне велено было ни во что не соваться в незнакомых местах. Почему-то это знала бабушка. Отец сказал по-другому: после смерти Сталина объявили амнистию. Отпустят всякую шваль.

Но это была не та шваль.



За дворцовыми окнами зарозовел рассвет, и люди стали оживать. Сначала тишину оборвал женский визг — будто какой-то звонок. Послышался плач. Зал очнулся по этой команде, и крики раздались ещё в разных его концах. Притопали в кирзовых сапогах два мильтона. Они что-то спрашивали, им отвечали женщины и старухи — почему-то только они, — и эти полусогнутые фигуры с воздетыми или разведёнными руками, дежурные милиционеры с красными погонами, оглядывающие зал, но никуда не стремящиеся, мне вдруг показались схожими с чем-то.

Хладным умом, вовсе не похожим на мой, я подумал, что это вроде немой сцены в “Ревизоре” Гоголя, только там они все стоят недвижимо, но ведь таков закон театра, а не жизни. В жизни машут руками, говорят, передвигаются, голосят и бормочут. А толк всё тот же: не знают, как быть!..

Пострадавшие стали исчезать под руководством дежурных, наверное, составлять протоколы, остальные тоже потихоньку потянулись к дверям. Я забрал чемодан из камеры хранения, потом влез в трамвай и довольно скоро добрался до нужного дома, подъезда и квартиры.

Город за трамвайным окном не поддавался скорой привязанности. Угрюмые дома вдоль трамвайных путей симпатий не рождали, но нескорая дорога открывала и приятные взору уголки: деревянные домишки, почти деревенские, утопающие в зелени. Потом я загляделся на высокий, с колоннами, белокаменный дом и сам себе кивнул головой, когда кондукторша трамвая объявила остановку: “Дворец пионеров”. Далее, видать, пошли главные улицы и пруд, окаймлённый домами с полукруглыми или прямыми стенами, и это — я знал — была уже наша, довоенная эпоха.

Тётя Лиза оказалась худенькой, — в чём душа держится! — старушкой, коротко стриженной, с как будто выцветшими светлыми глазами, весьма деликатной и до странности любезной. Про меня она была предупреждена, и потому приготовлен был диван с комплектом белья, отдельное хрустящее полотенце, только вот мыло общее — извинилась она.

Меня усадили за чай с бутербродами, но в дверь позвонили, и кто-то из за порога спросил тётю Лизу:

— Не приехал?

— Как раз и приехал! Заходи, Герман!

Я даже привстал, поражённый. По ту сторону стола стоял парень едва постарше меня, но вместо рук у него были две расщеплённые культы.

Лицо у него гляделось совершенно хулиганским: очень узкий лоб, чёрная чёлка, совсем его закрывающая, такие же чёрные, сверлящие глаза, не до конца застёгнутая рубашка. Правда, это хулиганское лицо ещё и сияло! Он то едва улыбался, то растягивал рот широченной улыбкой, то как-то забавно морщился, но всё это оживление казалось лукавым, каким-то неправдивым.

— Садись, Герман, — сказала тётя Лиза, — попей чайку!

Я не понимал, как он станет пить чай, но Герман ухватился обеими клешнями за чашечку и пил, как все, прихлёбывая от удовольствия. А тётя Лиза произнесла с большим чувством гордости:

— Я попросила Геру зайти, если ты приедешь сегодня, и помочь добраться до университета. Он, — поглядела на него с гордостью, — учится на втором курсе иняза! Английский язык! Уже сейчас знает его блестяще!

— Пойду на красный диплом, тётя Лиза! — воскликнул он и, как будто лично мне объясняя, прибавил: — А что мне остаётся?

Потом, после чая, пока мы шли к трамвайной остановке, он рассказал, что лет в девять, когда была война, он попал под этот самый трамвай, цеплялся этаким проволочным крючком и носился за ним, как оголтелый, но потом споткнулся, видать, на булыжнике, и его занесло под встречный вагон, а дальше он ничего не запомнил, но выжил, хорошо учился, а теперь форсит среди почти одних девчонок. Известно, что в инязе учатся исключительно девахи.

— Боюсь, — смеялся по-мужицки Герман, — испортят меня! Такие все вокруг вежливые да заботливые! А я, может, зверь!

Посмеиваясь, он показал мне дорогу, по которой опять же ходили трамваи, и я снова разглядывал этот чужой мне город, который взирал на меня без всякого сочувствия, равнодушными домами и серыми стенами.

Доехав до нужной остановки, я быстро оказался в приёмной комиссии. А при входе пригласил шага у обыкновенной вывески: “Государственный университет имени М. Горького”. Меня обдало сладостным холодком. Страх и гордость соединились воедино.

Было рано, а потому пусто, и я подсел к столику, где пожилая женщина, похожая на учительницу преклонного возраста, дружелюбно спросила мой вызов, выдала экзаменационный листок с моей фотографией, утверждённой печатью, и спросила:

— Что-то желаете ещё добавить в своё дело?

И здесь наступила решительная минута. Я протянул ей рекомендацию из редакции и моё сокровище — маленький альбомчик в тёмно-синей обложке под цвет, наверное, моих штанов. В нём, аккуратно наклеенные, хранились мои скромные заметки, напечатанные в газетах. А одна — даже в “Комсомольской правде”.

Учительского вида тётенька приняла его в свои руки и самым внимательным образом пролистала все странички.

— Вы посидите, я на минуточку!

Ровно через минуточку она попросила меня пройти в другую комнату, точнее, в такой закуток, примыкающий к комиссии, даже, кажется, без отдельной двери.

Там сидел вообще-то не очень приветливый человек. Он кивнул мне, листая мой альбомчик, а мне стало нехорошо от этого его листания. Как мне показалось, пренебрежительного.

Впрочем, я и сам не знал, как нужно было относиться ко всему моему примитивному сочинительству. Никто мне никогда про это ничего не говорил. Мама если и хвалила за это, то из чувства успокоения, что я по улицам не шляюсь, а хоть что-нибудь интересное для себя выдумал. А там...

И вот я сидел перед этим невзрачным оценщиком. А он мне говорил совсем другое:

— Вам общежитие нужно? На время экзаменов?

— Да, — отвечал я.

— Тогда возьмите направление на санобработку и там же направление в общежитие, а то вас без санобработки туда не возьмут.

Я ни черта не понимал! Какая санобработка?!

— Не удивляйтесь! — сказал дядька благодушно. — Так положено! А альбомчик ваш мы оставляем. Он будет в вашем деле!

Я вышел от него слегка ошарашенный, смущённый, растерянный. А когда человек теряется, как известно, ему даруется нечто иное. И если не прямо противоположное, — уверенностью одарить непросто! — то что-то обнадёживающее. Или просто смешное.

Когда я вышел от начальника, внимательная учительница протянула мне две бумажки и кивнула на девицу, стоящую у неё за плечом.

— Вот девушка! Как вас? Люсетта? Она тоже с вашего потока. И ей тоже требуется в общежитие! Так что шагайте на санобработку!

И хохотнула. Я улыбнулся, ничего не понял. Что такое санобработка?

## 10

А девушка Люсетта была вполне ничего себе: с пушистыми, коротко стриженными светлыми волосами, хорошо одета, вовсе не в тёмные цвета, что-то было на ней, помнится, цветастое, может быть, широкий голубой воротник на платье в такой же горошек?

Но мне было не до девушек, как и ей, похоже, не до парней. Мы оба двигались на санобработку и не куда-нибудь, а в городскую баню, и даже

мысль о бане способна была бы взорвать кого хочешь. Разве это не курам на смех: парочка незнакомых абитуриентов чуть ли не за ручку идёт в баню!

Но обсуждать благоглупости не приходилось.

И мы шли, получая взаимную деловую информацию людей, стремящихся к одной цели. Она была из южной республики, отличница, не получившая медаль по чистой случайности и совершенно уверенная в успешности грядущего испытания.

— Ты печаталась? — спросил я её, скорее чтоб сгладить небрежность мужчины в приёмной комиссии. Она испугалась:

— Нет! А это обязательно?

— Да нет, — ответил я, справедливо оценивая её испуг, — вовсе не обязательно.

Городская баня, конечно, не обладала никакими особыми достоинствами. Но когда мы зашли в фойе, растерялись: двери направо — мужское отделение, налево — женское. Люсетта вежливо спросила у кассирши:

— А санобработка — это где?

— Со двора! — крикнула она из окошечка. — Второй этаж!

Я облегчённо перевёл дух. Всё-таки это не баня.

Мы двинулись в обход, дорожка оказалась узкой, и я, как мужчина, шёл на разведку первым. Так первым и вошёл на пустую лестницу. Люсетта двигалась за мной. Наверное, желая быть уверенным в себе, а то и знающим неведомое дело, я обогнал её буквально на пару шагов, и на втором, как было указано, этаже, галантно распахнул перед дамой довольно неказистую дверь.

Дверь была без пружин, крашенная масляной белой краской, довольно разношенная и усталая от беспрерывных раскрываний. Так вот, дверь эта легко распахнулась, и я обомлел.

Помещение за дверью был забито женщинами. Даже, пожалуй, просто девчонками. И девчонками совершенно голыми!

Они стояли, сидели, ходили, но на открывшуюся даже без скрипа дверь все обернулись.

И захохотали!

Боже мой, это они смеялись надо мной, наверное, увидев мою изумлённую, поражённую, бестолковую физиономию!

Они хохотали, и больше ничего. Люсетта легонько подвинула меня, прошла мимо и прикрыла дверь. Тогда захохотал я. С полуминутным опозданием. И совершенно безумно!

Замечали? И смех, и страх, когда нападают внезапно, особенно лицом в лицо, сначала завораживают своей неожиданностью, а уж потом лютуют в твоём нутре изо всех сил.

Я даже не хохотал! Я сломался пополам! Я, кажется, икал со смеха! Я валился с ног! Я бился о стенки! Я не утих даже, когда Люсетта, выглянув из двери, крикнула мне:

— Мужское отделение выше!

С трудом взобравшись на третий этаж, я, наученный опытом, слегка приоткрыл дверь, а уж потом вошёл. Там сидели голые мужики. Тоже, главным образом, парни.

Вид у меня, похоже, был довольно несерьёзный, а в таких случаях люди постарше всегда норовят тебя осадить. Худой и так-то, видать, вредный старик в тёмно-синем халате, глянув на меня, велел раздеваться до основания и всю одежду, кроме ремня, навесить на большое кольцо из толстой проволоки.

— Исключая носки.

— А ботинки? — поинтересовался я.

— Ты что? — построжал он. — Чумной?

— А чумных не дезинфицируют? — не унимался я.

Короче, через минуту я сдал всё своё насущное натянутым на кольцо, и всё это имущество, прицеплённое к стальной стойке, вместе с тряпьем остальных граждан мужского пола, уехало за чёрную заслонку.

Мы остались голыми, без всяких полотенец, без мыла, а перейти и помыться следовало в соседний отсек. Там лилась из десятка душей горячая

и холодная вода, а в вёдрах чернела какая-то гадость. Мужики, поматюгавшись, признали её дегтярным мылом, кто-то из старших попробовал использовать его, но другой из старших крикнул ему:

— Неделю сапогами будешь вонять!

Меня это охолонуло. И снова включило мой подутихший было смех. Я захохотал, и, конечно, не над запахами мужиков, а над тем, как вляпался в бабье отделение!

Но никто не понимал моего смеха!

## 11

Санобработкой, в общем, оказалось не столько наше мытьё, сколько прожарка штанов, рубах, курток и прочего вещевого имущества. Поскольку я пропустил эту важную деталь, то объясню, что деньги и паспорта выкладывались отдельно в потёртые мешочки и сдавались злобной тётке несвежего вида. Представьте, почему бы ей и не злиться: голые мужики сдают деньги, а потом она выдаёт их обратно, тщательно вглядываясь в каждую физиономию, не имеющую примет. Трудно ли тут обмануться?

Так что злой эта женщина была по справедливости, прожаренные штаны сразу надевать, оказывается, невозможно — так они прокалились вместе со вшами и гнидами, — и смешливое моё состояние, неожиданно явившись, так же неожиданно угасло. Жизнь продолжалась. Натянув “московку”, вложив в потайной карман паспорт и наличность, я отправился в общежитие.

Оказалось, это просто огромные аудитории. Их освободили от столов и лавок и поставили железные армейские койки на проволочной сетке. К каждой прилагался матрац, подушка, простыня и одеяло. За всё не брали ни копья, только вписывали номер твоего экзаменационного листка, а с ним и паспорта: далеко не убежишь! Да и куда бежать-то с этим барахлом?

Словом, я бросил якорь, получил место, заправил кровать, вернулся к тётке Лизе и под старушечьи ахи и вздохи, правда, перекусив и забрав чемодан, удалился в пространство, которое осваивало человек тридцать.

Этот народ поступал на разные факультеты в разных зданиях, с утра убирался туда, возвращаясь к ночи; перечитывать учебники тоже предполагалось порознь, так что мы только кивали друг дружке, мол, я тебя помню, мы из одной комнаты. И всё.

Я обходил незнакомый пространственный дом, запоминая двери, углы, повороты, и тем походил на молодого пёсика, осваивающего новое жильё. Забавное дело: помещения, где мы ночевали, соседствовали с пространствами, приготовленными для экзаменов, а дальше снова шли временные спальни — уже для девчонок, и очень просто было вляпаться в новую глупую историю, тем более что не на всех дверях были приделаны хоть какие-нибудь номера.

Столовка на нижнем этаже оказалась запертой, и встречные старожилы пояснили, что лучше бы идти в главный корпус мимо той, исторической бани, но он в двух трамвайных остановках.

Потом кто-то отыскал столовку горного института — гораздо ближе, и я стал навещать туда. Но главной моей столовкой оказался мой серый чемодан. Я покупал батон, колбасы, чайник в нашем зале имелся, и утро с вечером у меня получались вполне съестные, хотя и однообразные. Остатки продовольствия я заворачивал в газету и складывал в неприхотливое и привычное моё хранилище. Чемодан же стоял под кроватью таким довольно голым образом, потому что с койки ничего не свисало, и он, овеваемый сквозняками, не мог утаиться от посторонних взглядов. Впрочем, это касалось каждого чемодана под всякой кроватью.

## 12

У всех, кто поступал, своя история и всякая из них достойна памяти. Я в это верю.

Мне всегда жалковато разных там медалистов, которых зачисляли в ту пору просто так, по аттестатам, позже — после собеседования, всегда благо-

желательного и безотказного: как откажешь, если перед тобой “золотарь” — так именовались школяры, клеймённые золотом. Что тут скажешь про проблемных благополучников, не страдавших за собственную шкуру? Может, потому история знает уйму примеров, когда отличники ломались на подороге, а бедолаги и мученики пробивались к цели?

Мои экзамены пятьдесят третьего года обернулись испытанием, но, ясное дело, я этого не понял. Мне будто пригрозили пальцем и временно отступились, иначе моя судьба оказалась бы совсем иной. А всё началось так обыкновенно и, в общем, обманчиво беспечально.

Первым экзаменом оказалась почему-то география, и я сдал её безмятежно, получив четвёрку. Меня, наивного, это не озаботило. Я готовился к сочинению, и мысль о нём тревожила меня, как и всех. Народ знал, что тем для сочинений будет несколько, и уж Лев Толстой окажется обязательным в этом перечне, а Чехов — наверняка. А ещё объявят свободную тему по современной литературе. Кроме того, громко говорилось о том, что на сочинении, всячески придираясь, отсеют половину.

В известный день и час гром грянул, и в огромной аудитории на доске мелом написали темы, где были и Толстой, и Чехов. И свободная — “Образ И. В. Сталина в советской художественной литературе”.

Вот оно! Вызов к славе и беславию совершенно одинаков. Но в том и другом варианте — надо покрепче задуматься. Я и маялся, оставаясь внешне вполне спокойным.

Сладишь ли ты? Или окажешься слаб? И хватит ли слов у тебя, чтобы сказать то, что живёт и трепещет внутри тебя? Способен ты совместить кончик пёрышка с желанием высказаться? Или лучше уж испытанное — образ зеленеющего старого дуба у почтенного Льва Николаевича, прекрасный Андрей Болконский и сказочная Наташа Ростова? Да и “Вишнёвый сад”, про который давно всё разжёвано, будто мякиш для слоняного мальшша.

Впрочем, про Толстого и Чехова я даже не думал. Я думал о Сталине, и всё, что случилось в моей душе всего пять месяцев назад, вновь оживало, зачем-то приближалось и становилось почему-то важным.

Ведь с тех пор совсем немного времени прошло, горечь как будто отошла, а я закончил школу и приехал сюда.

Но почему всё так быстро затихло — я этого не мог понять! Всё это горе, слёзы, траур? И что, вообще-то, происходит с нами? Вождя больше не было! А я верил, наивный, что без вождя не может быть нашей страны.

Был ли я один такой? Даже и не знаю. Я просто знал, что мой страх за отца, когда шла война, искал выход во спасении свыше! В защите и его, и всей нашей родины, а это значило, и мамы, и бабушки, и меня. А спасение это держалось только на одном. На силе наших войск незримых из детства, но в детстве же и ясно представляемых несметных танках, орудиях, которые не дадут нам погибнуть. И отцу не дадут. Но ведь эти войска были — Сталин. Их Верховный главнокомандующий. Вот и всё.

И страх ведь в моём сердце отступил, когда отец вернулся с войны, да и вот сюда-то, поступать учиться дальше я приехал потому, что кончился мой страх, что пришла Победа. А Сталин умер, и эта великая беда ещё не отошла, и никто не понимал, что произойдёт дальше.

Сознание неискушённых — и моё среди них — вновь и вновь отыскивало опору, на которой держалось наше спасение.

В свои семнадцать лет я совсем по-взрослому переживал уход вождя. В те дни, когда прощались со Сталиным, я каждый день ходил на почту и скупал главные газеты с траурными чёрными полосами по краям. И откуда-то понимал, что именно эти газетные листы, только отпечатавшись, сразу становятся неповторимым свидетельством горя, и собирал их. На этажерке скопилась целая стопа, и никто дома, кроме меня, не прикасался к ней. Газеты горьких дней стали моим неприкосновенным страданием.

Сообщения о смерти и похоронах были одинаковыми всюду. Зато там печатались стихи, и они были разными. Я читал всё кряду. Не учил, но они сами запоминались.

Приходил из школы, откладывал портфель и перебирал стопу купленных газет, перечитывал стихи. Меня они знобили. Написанные трагическим, горьким языком, они повторялись и по радио, а я уже знал эти строфы.

А до этого... В мужской школе, как, впрочем, и в женской, были уроки музыки. Не знаю, как учили девчонок, а нас музрук ставил в несколько рядов, друг над другом, используя низенькие спортивные лавки, и мы ощущали какую-то налетавшую мощь, когда пели:

*Артиллеристы, Сталин дал приказ!  
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!  
Из многих тысяч батарей  
За слёзы наших матерей,  
За нашу Родину —  
Огонь, огонь!*

И кто тогда не знал эти слова? Кто не пел их без всяких усмешек и не верил истово в них?

В восьмом классе ни с того ни с сего я выучил “Стихи о советском спорте” Маяковского и опробовал их на школьном литературном вечере. Тогда звали девчонок из соседней женской школы, потом устраивали танцы под радио, но хозяйничали, как полагается, старшеклассники, и я быстро оттуда смотался. А к смотру школьников выучил уже совсем другое, Константина Симонова, и это было довольно длинное стихотворение, а может, даже маленькая поэма под названием “Митинг в Канаде”. А потому стихи надо было читать громко, быстро, нажимая на главное. И слова поэт придумал резкие, понятные, и я тоже произносил их в лоб, утверждая даже и не мою, а какую-то общую силу.

*Я вышел на трибуну, в зал,  
Мне зал напоминал войну,  
А тишина — ту тишину,  
Что обрывает первый залп.  
Мы были предупреждены  
О том, что первых три ряда  
Нас освистать пришли сюда  
В знак объявления нам войны.  
Я вышел и увидел их,  
Их в трёх рядах, их в двух шагах,  
Их — злобных, сытых, молодых,  
В плащах, со жвачками в зубах,  
.....  
Почувствовав почти ожог,  
Шагнув, я начинаю речь.  
Её начало — как прыжок  
В атаку, чтоб уже не лечь:  
— Россия, Сталин, Сталинград! —  
Три первые ряда молчат.  
Но где-то сзади лёгкий шум,  
И, прежде чем пришло на ум,  
Через молчащие ряды,  
Вдруг, как обвал, как вал воды,  
Как сдвинувшаяся гора,  
Навстречу рушится “ура”!  
И зал встаёт, и зал поёт...*

Но всё это осталось в школе. Нет, почему?

### 13

И я бросился в сочинение на свободную тему.

Для начала надо признать, что я много читал, может, даже чрезмерно, и среди освоенного был “Хлеб” Алексея Толстого. Он описывал оборону Царицына, и там фигурировал Сталин.

С этого я и начал: как командовал Сталин в гражданскую войну, почему и превратился потом город Царицын в Сталинград. Потом я писал про войну. Наверняка у меня всё выходило довольно наивно. Я процитировал слова из “Песни артиллеристов”, которую распевал наш хор, и симоновские те заученные строки: “Россия, Сталин, Сталинград!”

Ну, и ещё одну песню я процитировал — её пели чаще других и по радио, да и у нас, когда звал отец в гости своих выживших в войне приятелей.

*Встанем и чокнемся кружками стоя мы,  
Братство друзей боевых,  
Выпьем за мужество павших героями,  
Выпьем за встречу живых.*

*Выпьем за то, что ещё крепче стали мы,  
Выпьем за всё, чем живём,  
Выпьем за Родину, выпьем за Сталина,  
Выпьем и снова нальём!*

Не требовалось от меня ничего особенного, чтобы это всё знать. Дети поют со взрослыми и за взрослыми. И всё, что они потом говорят и делают, хочешь не хочешь, а повторяется. Знать все эти слова никто не заставлял, мы их просто знали.

А стихотворение поэта Исаковского я выучил сам и беспричинно:

*Оно пришло, не ожидая зова,  
Пришло само — и не сдержать его...  
Позвольте ж мне сказать Вам это слово,  
Простое слово сердца моего.*

*Тот день настал. Исполнились сроки.  
Земля опять покой свой обрела.  
Спасибо ж Вам за подвиг Ваш высокий,  
За Ваши многотрудные дела.*

*Спасибо Вам, что в годы испытаний  
Вы помогли нам устоять в борьбе.  
Мы так Вам верили, товарищ Сталин,  
Как, может быть, не верили себе.*

*Вы были нам оплотом и порукой,  
Что от расплаты не уйти врагам.  
Позвольте ж мне пожать Вам крепко руку,  
Земным поклоном поклониться Вам*

*За Вашу верность матери-отчизне,  
За Вашу мудрость и за Вашу честь,  
За чистоту и правду Вашей жизни,  
За то, что Вы — такой, какой Вы есть.*

*Спасибо Вам, что в дни великих бедствий  
О всех о нас Вы думали в Кремле,  
За то, что Вы повсюду с нами вместе,  
За то, что Вы живёте на земле.*

Пёрышко моё, летая паразитически легко и уверенно по проштампованному листу, не попевало за тем, что я знал, цитировал и пытался соединить в одну мою безысходную, стоящую за всем этим печаль: что с нами будет?

Может, даже со слезами на глазах я вписал в сочинение стихотворение знаменитого Маршака. Это имя я знал с младенчества, ещё бы: “Мистер Твистер” и куча всего, что назначалось маленьким, он теперь и ко мне, одному из подросших, обращался, как к взрослому.

*Когда Вождя соратники внесли  
В гранитный Мавзолей для погребенья,  
Народ во всех краях родной земли  
На пять минут остановил движенье.*

*За пять минут  
В душе у нас встают  
Великие события этой жизни.  
Гудков и залпов траурный салют,  
Как ураган, несётся по Отчизне...*

Я уже два раза попросил добавки у дежурных по сочинению, и мне принесли два двойных листа со штампами. Первый раз его дала мне безразличная ко всему девчонка, может, старшекурсница, а в другой раз с опаской приблизилась та, знакомая уже женщина из приёмной комиссии, похожая на учительницу. Она ещё отправила меня с Люсеттой в прожарку.

Отдавая лист чистой бумаги и вглядываясь в исписанные страницы, она с испугом спросила меня:

— Вы — что? Сочинение в стихах пишете?

Эта фраза меня, может, и спасла. Я медленно, как рыба из глубины, выплыл в этот чужой мне зал из пока ещё неведанного мною вдохновения. Совершенно здесь неуместного, конечно!

Мне надо поступить в университет, а я рассиропился на бумаге так, что хоть сопли мне вытирай. Впрочем, я так и сделал. А тётеньке ответил:

— Нет! Это цитаты!

Она так поражённо вскинула брови, что я подумал: ну, мне хана!

И здесь я крепко споткнулся. Помутневшими глазами оглядел аудиторию — головы, склонённые нал столами, плыли смазанными пятнами. Может, первый раз в жизни, один на один с собой, я должен был не только прикоснуться к чему-то опасному, не понимаемому мной, витающему где-то над нами.

Ведь совсем ещё недавно, в сорок девятом, в декабре, страна отмечала праздник. Да ещё какой! Семьдесят лет со дня рождения Сталина! И тогда в нашей школе был вечер, и во Дворец пионеров я ходил, как чтец стихов с выражением, уже себя зарекомендовавший аплодисментами за “Стихи о советском паспорте”. Во Дворце я числился среди артистов, которых выпускают в самом начале — или почти в самом! — и на этот раз я выучил, может, самое короткое, которое отчего-то мне нравилось своим, может быть, достоинством. А всего-то шесть строк!

*Нам есть, чем гордиться, и есть, что беречь:  
И хартия прав, и родимая речь,  
И мир, охраняемый нами,  
И доблесть народа, и доблесть того,  
Кто нам и родней, и дороже всего,  
Кто — наше победное знамя!*

Имена авторов стихотворений не очень-то останавливали моё внимание, кроме, разумеется, таких, как Маршак, и я ещё не знал, что бывают фамилии, при упоминании которых происходят незримые глазу взрывы. Но в список ведущего требовалось вставить название стихотворения и имя автора. Уже во Дворце взрослые, видать, в последний раз оглядывая перечень с содержанием танцев, песен, стихов, вдруг споткнулись на мне. Меня поздравил ведущий, при галстук-бабочке, к тому же хорошо меня знавший худощавый артист, и, побледнев, спросил:

— Чьё это стихотворение ты надумал читать?

Я пожал плечами, совершенно не понимая, чего это он так возбудился:

— Да Ахматова, какая-то татарская поэтесса!

— Ахматова! — то ли испугался, то ли восхитился дядька. — Да ты в своём уме?



Кровь прилила к его лицу, и он, не вдаваясь в подробности, дело переиграл:

— Читай Симонова! А это — ни-ни!

Я подчинился, читал “Митинг в Канаде”, и мне долго хлопали, а я уже прекрасно соображал, хлопают не мне, а словам этим: “Россия! Сталин! Сталинград!” Ведь концерт был праздничный, и понятно, кому посвящался праздник. Когда торжественная часть закончилась, и отблеском юбилея, хоть немножечко, был освещён и я, а дальше начались танцы, я столкнулся в туалете с этим дядькой — нет, память уже не выносит из своих глубин его имени. Всё было позади, мы стояли у соседних писсуаров, и когда дело, во время которого о серьёзных вещах не говорят, завершилось, он, помыв руки, отстегнул свою бабочку и, выйдя в коридор, обнял меня за плечи и подвёл к окну, украшенному инеем.

— Ну, видишь! Полный успех! И никаких проблем! — А помолчав, спросил: — Большое было стихотворение? То, другое?

Мне хотелось подразнить его, спросив — почему, мол, было, оно есть и куда не делось. А ответил, как полагается:

— Шесть строк.

— Ну, прочти, — попросил он. И я прочёл, впрочем, без всякого выражения.

Он вздохнул, помотал головой, спросил, в каком я классе. Это был мой седьмой класс, я готовился вступить в комсомол.

— Забудь, — сказал мне человек без бабочки, — эту Ахматову. А то можешь навредить себе... Будешь постарше, и всё узнаешь... — Он усмехнулся. — Прямо из школьной программы.

Так всё и вышло. И в билетах на аттестат зрелости и, уверен, в билетах для вступления в университет был где-то вопрос про постановление о ленинградских журналах “Звезда” и “Ленинград”. И Ахматова там осуждалась. Всякие осуждения в газетах были опасны, в такие дебри не следовало углубляться вообще.

Но всякие приключения кончаются не тогда, когда хотим мы, а тогда, когда хотят они сами, совершающиеся с неведомой целью. Да ещё они над нами будто посмеиваются, все эти неожиданные повороты судьбы.

Так что ещё одно приключение произошло очень скоро, самое большее, через неделю. Даже не в библиотеке какой — я по ним шастал исправно, записавшись в пять или шесть, — а дома: отец принёс праздничный номер журнала “Огонёк”, посвящённый всё тому же семидесятилетию, с вождём на обложке, и я, листая его, вдруг споткнулся: Анна Ахматова.

Прочитал, восхитился, вырезал стихи и ещё одно выучил — то ли назло тому дядьке, который и шесть-то строк этой тётеньки не дал произнести, то ли ещё кому, неведомому пока. И вот этот неведомый замаячил передо мной. Или это неведомое было среднего рода?

Теперь-то, сдавая экзамен в университет, я считал себя, можно сказать, почти грамотным: постановление, где громили Ахматову, принимали в сорок шестом, а семидесятилетие Сталина отмечали в сорок девятом!

Но всё-таки отчего-то замер в той университетской аудитории, как на распутье, только не как уверенный в себе знаток, а бестолковый и слегка самоуверенный щенок, с одной стороны, учувший опасность, а с другой — этой опасности жаждавший.

Ведь меня за Ахматову могли остановить... Не пустить учиться. А я хотел! Как быть?

Словно чёрт из табакерки, из-за аудиторской двери выглянул подзабытый, но желающий мне добра сухощавый артист с галстуком-бабочкой. Я даже вздрогнул. Но выглядывал из-за двери совсем другой мужик, правда, тоже сухощавый и тоже при бабочке! Но это ведь кто-то и что-то давал мне знать! Что именно — стоило ли гадать?

Однако знание, равно как и незнание, бывает трудно остановить. И я вписал в экзаменационный лист два стихотворения, одноментно слухавив таким, примерно, манером: мол, вычитал среди обильных стихов великой утраты, но имени автора не знаю. Да и так ли это важно, ведь главное — искреннее слово о вожде. Второе стихотворение было таким:

*И Вождь орлиными очами  
Увидел с высоты Кремля,  
Как пышно залита лучами  
Преображённая земля.*

*И с самой середины века,  
Которому он имя дал,  
Он видит сердце человека,  
Что стало светлым, как кристалл.*

*Своих трудов, своих деяний  
Он видит спелые плоды,  
Громады величавых зданий,  
Мосты, заводы и сады.*

*Свой дух вдохнул он в этот город,  
Он отвратил от нас беду,  
Вот отчего так твёрд и молод  
Москвы неборимый дух.*

*И благодарного народа  
Вождь слышит голос:  
“Мы пришли  
Сказать: где Сталин, там свобода,  
Мир и величие земли!”*

Итак, меня не трогали до последнего.

Абитура наша, заканчивая сочинения, складывала их на стол, народу в зале становилось всё меньше, пока я не очутился совсем один. Я взглядывал в сторону наблюдателей, но дописывал, дописывал, торопясь, последние строки, пока, вздохнув, не поставил окончательную точку. Начал перечитывать, и снова окунулся вглубь своих соображений. Цитат оказывалось сверх всяких мер, а связующие их пассажи шли из глубин моей наивной души. И я не мог понять, что у меня получилось. Сопливый винегрет?

Краем глаза я отметил, как пожилая, пошептавшись с молодой, неторопливо поднялась и медленно-медленно, точно кошка, которая подкрадывается к мышке, двинулась в мою сторону.

Когда она приблизилась, я посмотрел на неё. Наверное, облегчённо посмотрел и отдал ей целую стопку своих листов. Она утешила, как могла:

— Самое большое сочинение!

Я ушёл прощываться по зданию, потом на улицу, всё ещё в ясно сознаваемом угаре от небывалого напряжения. Кажется, меня даже слегка познабливало, будто пережил какой-то приступ! Я спрашивал сам себя, на что намекала эта доброжелательная женщина учительской наружности? Самое длинное — ещё вовсе не значит, что хорошее. Чем больше слов и предложений, тем больше шансов пропустить знаки препинания и хапнуть трояк. А это для меня означало конец света. Одна четверка уже есть.

В нашем общежитском парламенте, пусть и не сильно многословном, отчего-то было давно известно, что у журнального проходной балл 23. Из возможных 25. Возможны две четвёрки — и всё!

## 14

Через три дня был устный экзамен по литературе и русскому. Там объявлялись оценки за сочинение, но только тем, кто получил больше двойки. Список двоечников, то есть отлучённых от дальнейшего, был вывешен внизу, на стенке между огромным, из какого-то, пожалуй, старинного дворца, зеркалом, наклонённым чуточку вниз, с обширной полкой перед ним и многообразием почтовым ящиком по соседству, куда клали письма студентам. Но ведь студентов не было, в ящиках белело пять-шесть недополученных

конвертов, зато в пространстве возле него, на доске объявлений висел лист с перечнем получивших дурные оценки.

В этом пространстве лёгкими облачками возникали небольшие группки. Чаще всего они быстро рассеивались, но я послушал и несколько речитативов с подвывом. Меня среди двоечников не оказалось.

Но на сдвоенный “русский — литературу” я шёл, подрагивая. И это требует пояснений. Русский язык с его многочисленными правилами я не мог детально одолеть. И кроме деепричастного оборота, всё остальное представлял себе весьма приблизительно. Да и это деепричастие-то меня заманило только своим образным примером, который был известен всей, наверное, стране: “Пятак упал, звеня и подпрыгивая”.

Однако — и это было удивительно! — не зная правил, я писал без ошибок. Секрет, пожалуй, в том, что, читая книжки, я никогда не торопился. Не гнал динамо, а, наоборот, даже перечитывал ещё и ещё раз сложноподчинённые предложения. И просто механически запоминал, где нужно ставить знаки препинания. А уж как пишутся слова, так любая книга и даёт всегда точный ответ. Проверенные навыки меня не подводили, но и незнание правил никто не прощал. А в моём билете перед разбором предложений, всегда для меня ненавидимых, был ещё Горький, вернее, его “Город жёлтого дьявола”. Много начитавший в школе, “Дьявола” я не мог осилить. А требовалось не только пересказать содержание, но и вскрыть особенности. И я заскрипел на повороте: публицистический памфлет, образ загнивающего империализма, в общем, дешёвый школьный ликбез без всяких соображительных отклонений.

Русский и литературу принимала уже явная учительница. Если та, из приёмной, только походила на учительницу своими повадками, то эта их ярко демонстрировала. Была она в меру полная, настороженная — ведь ученики-то посторонние! — и в то же время очень к каждому благорасположенная. Может, потому что это экзамены в университет, а не школьные, даже выпускные, и перед ней предстают люди разных городов и весей, что тоже к чему-то обязывает.

Словом, тётенька простого обличья, с не очень-то выразительными глазками, старалась взирать на испытуемых и по-доброму, и взыскательно, и осторожно. Всё это сразу! А я быстро уловил, что она слушает меня напряжённо и мой казённый ответ её кручинит. Что же касалось моих овечьих меканий и беканий по поводу разбора предложения, они её и вовсе огорчили.

Я увидел, как, посидев и терпеливо послушав, она протянула руку и зашелестела бумажками. Потом выдернула одну, полезла в пачку листов, лежащую на краю стола, полистала что-то, придвинула к себе. О Боже! Я узнал свой почерк. Это было моё сочинение о Сталине.

— Так вы — что? — резко перебила она моё блеяние. — Николай? Кузнецов?

Я молча указал на экзаменационный лист, к которому была приклеена моя фотография, безмолвно проваливаясь в пучину смутных предчувствий.

Но кто-то — наверное, мой личный маленький ангел — вдруг стал усердно подкрашивать эти предчувствия в розовый цвет. А потом и вообще поддал жару. Тётенька-экзаменатор оглядывала меня с головы до ног. И я вдруг увидел, что у неё очень выразительное, доброе лицо. И оно не скрывает удивления! Не могла, мол, и подумать, что это вы!

— Но! Вы! Же! — восторженно восклицая каждым словом, торжественно произнесла тётенька. — Написали! Превосходное! Сочинение! Пятёрка по всем пунктам! — И тут она перешла на шёпот: — Столько знаете! А сейчас!

“Что — сейчас?” — хотел спросить я с горестью, которую, к счастью, не поддержал мой ангел-хранитель.

— А сейчас, а сейчас, — качала головой моя испытательница, разглядывая — разглядывая — разглядывая меня и всё не уставая кивать каким-то своим потаённым мыслям.

А потом она молча взяла мой листок, и через её плечо в простеньком и неновом, но всё-таки не чёрном платье я увидел, как она ставит: “сочинение” — 5, “русский и лит-ра” — 5.

И опять повернулась ко мне. И как-то совсем по-взрослому, с неведомой мне доверительностью и неким лукавством, спросила:

— Ну, а кто же всё-таки этот прекрасный, неназванный вами автор? Вы знаете?

Я чуточку колебнулся. Передо мной трепыхался экзаменационный листок в руке учительницы. И я солгал. Чтобы ложь осталась неизречённой, пожал плечами.

Она понимающе прикрыла веки.

## 15

Никогда я больше не встречу эту учительницу, принимавшую у меня экзамен в университете. Да, признаться, я и выскочил-то поскорей, схватив листочек с двумя пятёрками, чтоб не передумала — мало ли? Но чем дальше отходит от меня то время, тем необъяснимее и благодарнее я думаю о её решимости. Спасибо ей! Что-то такое всё-таки сделала она не по правилам. И я думаю, это что-то означало главное для меня: не помешать! Дать дорогу мальчишке, его искренности. Если чего-то не знает, потом доберёт. Жизнь научит, чему надо. А чему не надо — можно и не учить.

Удивительно, но через день я нарвался на ещё одну такую же тётеньку. На экзамен по французскому я пришёл, как парусный корабль после бури. Паруса, может, надуты ветром желаний, но днище пробито, течёт и, чуть тронь, затонет, как пустая бочка.

Французский сдавало совсем мало народу, и всё девчонки, из лиц мужского пола один я. Иностраный язык — не математика, тут шпаргалок не бывает, а требовалось сначала прочесть вслух, показав произношение и навыки чтения, небольшой кусочек французского текста, тут же его перевести и потом ответить ещё на два вопроса, разобрав предложения и обнаружив знание правил.

Боже ж ты мой, как мерзко чувствовал я себя! Окружавшие меня девицы, всё больше из местных, ловко щебетали экзаменаторше и, улыбаясь, вылетали свободными птахами. А за столиком сидела полная дама с ярко накрашенными губами, этаким сердечком, и эти губы давали мне понять, что участь моя незавидна. Свои вопросы девчонкам она задавала по-французски, ей отвечали тем же, и рыхлое тело “французенки”, казалось, колышется от наслаждения — везло же мне на пухлых дам!

Однако я быстро вынудил её перейти на русский. Чтение моё ещё кое-как сошло мне с рук, перевод она поправляла много раз и довольно радикально, а услышав моё толкование правил, задумалась и отвела взгляд в сторону.

Пришлось сменить тактику и вкрадчиво, чтобы не привлекать внимания остальных, сказать ей, что у нас в школе за год менялось по пять учителей французского и что лично я обожаю французскую литературу — назвав очередь, почти автоматной, имён пять из самых прославленных. Она, может, впервые внимательно, хотя и искоса, посмотрела на меня. Потому что за этим последовало моё горячее желание как следует выучить язык оригинала этих великих кудесников слова.

— У вас такие хорошие оценки! — полушёпотом сообщила мне французенка с накрашенными губами. — А вы не тянете и на тройку!

И я увидел доброту в её вишнёвых глазах.

— Ну, пожалуйста! — попросил я.

Она сочувственно вздохнула и вывела мне тройку.

— Это катастрофа! — проговорил я.

— Но я не могу! — жалостно взгляделась она в меня. — Я и так! А вы — получайте пятёрку на следующем экзамене! И всё в порядке!

Я, конечно, возненавидел её. Точнее, я возненавидел себя, но что толку? Иностраный язык не выучишь за неделю перед экзаменом и даже за лето, к примеру. А репетиторства тогда не было и в природе, если кто не знает. Оно если и не преследовалось, то осуждалось.

Так что имя Сары Христофоровны, с которой всё-таки я встречаюсь в сентябре, оказавшись студентом, я запомнил ещё в августе. Однако на большее по французскому рассчитывать и не приходилось. Значит, требовалось серьёзное отвечать на географии — это раз. А попасть в пятёрку на истории только ещё предстояло. И всё же я поверил её полушёпоту. Так что и она мне вроде помогла. Только совсем не так, как учительница литературы.

Историка я навсегда запомнил. Три дня, дававшиеся на подготовку к последнему экзамену, я провёл на балконе у тёти Лизы. Оставил под кроватью в общаге свой серый чемоданчик, приехал к ней с просьбой о ночёвках перед историей, и всё, что было во мне, все свои мозговые ресурсы и всё остальное, что небо отводит для умственной энергии, использовал до упора, потому что проходным теперь называли 22 балла.

Стараясь не расплескать свои знания, я, видать, запутался в трамвайных маршрутах и опоздал. За что и споткнулся о плохую встречу: усталый экзаменатор, немолодой мужчина, проговорил:

— Но вы опоздали!

Я ничего не ответил. Ответил, наверное, мой щенячий, повинный вид, полный отчаяния: передо мной вонзилась в пол сверкающая молния.

— Берите билет! — устало проговорил экзаменатор, но тут же оживился. — А без подготовки можете? Прибавлю целый балл!

Вот это преимущество. И я кинулся вплавать в своё уходящее будущее.

Слава Богу, что я повторял историю у тёти Лизы! Слава Богу, что не отвлекался ни на какие её душевные собеседования! Слава Богу, что был переполнен историей до кончиков своих ногтей!

Я говорил быстро, уверенно, не теряясь. Читал вопрос — и летел вперёд. Мужчина поднял брови домиком, и едва я разлетелся, остановил:

— Следующий вопрос!

Я разогнался по другому вопросу, а он снова оборвал меня:

— Следующий!

Остановил и в третий раз. Спросил дату Куликовской битвы. Сказал неожиданно пошрительно:

— Если бы я сдержал своё слово, пришлось бы ставить шесть. Но такой оценки нет. Желаю удачи!

Вот такое стечение обстоятельств: историка этого я тоже больше никогда в своей жизни не увидел. Но проходной оказалась цифра 23.

Её объявила та самая женщина учительского обличья из приёмной комиссии. Зачисление в студенты проходило прямо у ректора, перед кабинетом которого находилась огромная приёмная. Народ туда, ясное дело, не пускали. Живая толпа клубилась и сдержанно бурлила в широком коридоре, я никого не замечал, и всё во мне сторало в тяжёлом и медленном пламени. Но всё-таки ангел находился где-то поблизости. И хотя я не ощущал его обычной уверенности, надежда на чудо меня не бросала. А иначе — что? Куда я? Зачем и почему?

Вышла эта тётенька и объявила:

— Зачислены все льготники, не получившие двоек. Участники войны, бывшие военнослужащие, абитуриенты из районов Крайнего Севера. Зачислены и все остальные, получившие 23 балла!

За её спиной уже вывешивали списки принятых. А я, покрывшись холодным потом, прислонился к стене.

В коридоре слышались ликующие восклицания, радостные вскрики, но и стоны, в общем, стоял шум, так что мало кто и расслышал, как она назвала две фамилии — мою и какую-то ещё. Было велено подождать.

Этим другим оказался Борик Рябиков, которого позвали в кабинет ректора, и он почти сразу выскочил оттуда, улыбаясь. Потом я узнал, что он выпускник детского дома. Позвали меня.

Никогда не забуду огромную пальму в углу. Она слегка потрескивала на сквозняке своими жёсткими листьями, как будто строчит далёкая-далёкая пишущая машинка, надо же! За столом сидел седой и неприветливый человек с нахмуренными и мохнатыми чёрными бровями. С одной стороны возле него была всё та же благосклонная женщина, а с другой — мужчина из приёмной комиссии, который отправлял в санобработку.

— А зачем вам учиться? — вдруг спросил меня бровастый ректор, и я содрогнулся. Был бы послабее, свалился с ног. Но это, оказалось, шутка.

Ректор листал мой скромный альбомчик с вырезками и продолжал таким же мрачным голосом:

— Вы и так всё умеете! Вон у вас сколько заметок!

Ну, взрослые! Да ещё всемогущие! Разве же можно этак-то?

— Ну, хорошо! — продолжил седой, теперь уже вглядываясь в меня. — У вас тройка по иностранному, стипендии первый семестр не будет.

— Помогут родители! — твёрдо ответил я, заранее обдумав своё положение.

— Но и общежития у нас нет! — продолжил он испытывать меня.

— Сниму койку! — ответил я.

— Тогда желаю удачи! — сказал ректор.

## 16

С этим Борей Рябиковым из детдома мы и вышли из огромного, почти сразу опустевшего здания. Только теперь разглядел я толком своего напарника по удаче. Был он невысокий, белокурый, розовощёкий, похожий на озорного поросёночка, и всё время подпрыгивал почему-то, подскакивал, постукивал копытцами. Зато я походил на лимон, выжатый до полного истощения.

Борис подскакивал, а я волочил ноги, и мы, не сговариваясь и ни о чём не толкуя, медленно шли вдоль трамвайных путей куда-то в сторону центра. Хотелось жрать, и вот это-то справедливое чувство, наверное, разумнее всего возвращало меня к жизни. Я оглядывался по сторонам в поисках хоть какой-то столовки, но они, как назло, не попадались, и мы подошли к самому что ни на есть городскому перекрестию.

Здесь у кинотеатра с непривычным мне названием “Совкино” сходились и расходились трамвайные пути во все четыре стороны света. Грохот стоял тут не то чтобы ужасный, но постоянный, водители трамваев постукивали своими сигналами, похожими на частый бой молоточков, поворачивали свои красно-жёлтые вагоны, а люди, будто нарочно испытывая судьбу, перебежали дорогу у них под самым носом.

Напротив “Совкино” мы увидели кафе-мороженое и зашли туда. Пришлось взять по мороженому и — надо же, какая вольность! — по гранённому стакану шампанского. Замечу мельком, что шампанское в той кафешке бокалами не подавали, да и взрослый народ подозрительно клубился возле невзрачного заведения, намекая, возможно, и на другое, более практичное, пренебрежение этой вечно живой стеклянкой тары.

Мы уселись за столик. И вот тут только я понял, что со мной произошло! Через час примерно после спасительного приговора.

Здесь в самую пору заметить, что шампанского я до тех пор никогда не пробовал. Портвейн на выпускном из горлышка — да. Назывался “777” — “Три семёрки”. Но портвейн мне на душу не лёг. А тут шампанское! Советское! И по гранённому стакану! Да и голодные мы были до полной пустоты. Да и шампанское никто не учил пить — ни меня в семье, ни Борика в детском доме. И мы в один присест хлопнули по стакану, как показалось, шишучки, и стали с голоду заедать мороженым.

В голове пыхнул чудесный жар, недавние горести показались волшебным сновидением, а поросёночек Боря — превосходным собеседником, чего в последовавшие годы я больше не отмечал.

Нам было не просто хорошо, а превосходно радостно — вот как я обозначил бы то наше состояние. Мы считали себя удачниками без всяких оговорок. И даже нахально смеялись над препятствиями, которые пришлось одолеть.

У Борика вообще оказалось три тройки — по немецкому, за сочинение и по литературе. Я попробовал удивиться, но только восхитился его удачей — детдомовца приняли бы со сплошными тройками, оказывается! И стипендию ему дали! И общежитие!

О, как мы были чисты и наивны! А я восхитился таким справедливым правом и совершенно не позавидовал. Я только тайно вспомнил, как милые

мой мама и отец, вернувшийся с войны, отыскав аж Героя Советского Союза, отправляли меня на багажной полке сюда, — и мысленно прильнул к ним!

Но как я мог! Ведь мне следовало не шампанским упиваться, а бегом бежать на Главпочтамт, чтобы отбить самую срочную телеграмму в мире: “Родные мои, я поступил!” Или чуточку скромнее: “Меня приняли!”

Я радостно сообщил Борику, что намерен направить свои стопы к телеграфу, но стопы не слушались.

— Отлично! — говорил Борик. — Я тоже отправлю депешу в детдом. Хотя! Они и так знают, что я поступлю! Ведь главное было — не получить двойку. А кто мне её поставит?

Я отнёс своё непонимание к заслугам советского шампанского, спросил удивлённо:

— Ты хорошо знал? Или они не могли?

— Не могли! — блаженно улыбался он, несерьёзный человек.

— А чего? — спросил я.

— Ну, кто поставит двойку абсолютному сироте? — засмеялся он, хотя смеяться-то было нечему. Я поёжился на скрипучем кафешном стуле.

— Погибли на войне? — спросил я, сочувственно разглядывая Борю.

— Нет! — ответил он, слегка покачиваясь и радостно улыбаясь. — В заключении!

— У немцев? — обратился я за подтверждением.

— Нет! — радостно воскликнул Борик. — У нас!

Настало ли у меня хоть какое-нибудь протрезвление? Совершенно нет!

Я уклонился от начатого разговора как-то интуитивно, подумав, что Борику неприятно говорить на эту тему. И мы с ним, долизав мороженое, вышли из кафе, послушали звяканье трамваев, поглядели на пешеходов, выскакивающих из-под них.

Живая жизнь отодвинула печальную тему, и мы расстались.

Я отправился на телеграф, он же, помотав головой, не согласился идти со мной, а, неумело выравнивая шаг, устремился к остановке, откуда трамвай двигался к общежитию.

## Повесть вторая

### ТЁТЯ ДУСЯ И ДРУГИЕ

#### 1

Итак, это было восемь лет спустя после жестокой и страшной войны, и нам всем очень хотелось, чтобы она поскорей осталась позади.

Да что значит — поскорей? Разве просто восстанавливать Сталинград, разрушенный до основания? Или Минск? Мы смотрели в кино “Новости дня” под бравурную музыку и бодрые голоса дикторов, и картинки новых домов совпадали со словами и мелодиями, но только совсем неразумный оболтус не понимал, какая эта тягота — строить целые города! После войны-то, где мужиков убито несметно!

Конечно, тревожно вздрагивала душа, когда из чёрной тарелки репродуктора слышался вдруг снова голос Левитана. Но теперь — и это было каждую весну! — он объявлял о снижении цен.

Потом, спустя годы и даже десятилетия, объявятся злыдни, ничего доброго-то сами не совершившие, но хулившие снижения: мол, мало этого было людям, мол, политика тут одна, но мы-то, и не только малые, но и матери, и отцы, кто жив остался, улыбались: жизнь-то вроде лучшает, а? Особенно, когда так упорно каждую весну нет-нет, а снижение всё же...

Да, мы наивно хотели, чтобы война ушла поскорее вдаль, но у неё был свой, непоспешный, отступ, и никто ещё не забыл, хоть карточки отменили, сколько граммов хлеба полагалось в день на взрослого, а сколько — на иждивенца.

Так что, поступив учиться, я тут же осознал первоначала философа: бытие — первично, сознание — вторично. Прежде чем спорить и отыскивать истину, было желательно сперва поесть.

Первые недели и даже месяцы студенческой вольницы всё путалось и менялось. Ели торопясь, кое-как, чтобы поскорей вернуться в опустевшие аудитории и сбиться там в небольшие спорящие стайки. Но бытие брало своё, особенно в конце месяца.

Родители, конечно, спасали меня. Я же поступил с тройкой по французскому, и до первой сессии стипеншки лишался. Да ещё и общаги тогда первокурсникам не давали, кроме фронтовиков, северян да сирот. Пришлось снимать койку, и в маленький частный домик нас набилось, как мелкого чистика в плоскую консервную банку: трое мальчишек в одной комнате, четверо математичек в другой, и каждый платил хозяйке по 200 рэ в месяц.

Так что требовалось на прожитье рублей 500, считая на еду по червонцу в день. И мы приспособились так: брали по полкило масла и сахарного песку, да ещё чай в пачках. К ним — утром и вечером — по “городской” булке. А в обед — щи, котлета, чай — рублей на 5—7. Всё остальное как бы исчезло. Да впрочем, это всё остальное-то ещё и не появлялось в нашей юношеской свободе.

Тетрадки для конспектов — они стоили недорого. Ручки и карандаши? А учебники, если таковые требовались, выдавала читалка, и отчего-то хватало всем. Про одежду, ботинки и всякие там прибабасы мы, мальчишки, по крайней мере, вообще не разговаривали: носили то, что было, и никто на эту тему не печалился.

Это, конечно, звучит совершенно несовременно: ходить в том, что есть. Этакая философия нищеты, что ли? Но вот ведь любопытный вывод: больше времени оставалось на иное. На мечты. На споры, которыми мы как бы нащупывали смысл собственного существования. А он уж и не так убог был, напротив, более чем высок: кто мы, зачем мы, что мы можем в этой жизни осуществить? И это в державе-то, ещё кровоточащей. Ещё не оплакавшей свежих могил. Не залечившей ран — в прямом и переносном смысле этих слов.

Не обращаая внимания на то, кто и как одет, мы толковали о разных разностях с одним смыслом: всё у нас впереди. И мы находимся под защитой чего-то большого и важного. Захочешь, и всё получится, только надо горячо захотеть, да самому как следует потрудиться.

Не берусь судить про всё тогдашнее общество, но студенческий мир напоминал созревающую бражку — это такой напиток, который делали умелые хозяйки: остатки хлеба, может быть, хлебные корки, дрожжи, вода, чуточку спирта — и ядреный получается напиток. Слегка хмельной, — а порою и хмельной основательно, — приятный на вкус.

Почти как человеческий самообман.

Пьешь и веселишься, а потом подняться не можешь!

### 3

У тех, кто стипендии получал, — а их получали все, кроме меня, — споры выдыхались, когда деньги кончались. Братва расходилась в разные стороны в поисках счастливой десятки. Чаще всего деньжонки эти, на один день, находились у девчонок, и кто-то кому-то одалживал с возвратом в день стипеншки.

Я же, напомним, стипеншки не получал. Конечно, я старался изо всех сил растянуть мамины деньги на тридцать дней по десятке в сутки. Но получалось не всегда, с провалами. Надо было купить проездной на трамвай или троллейбус, и хоть он был студенческий, подешевле, тридцать-то рублей вынь да положь. На баню да за стрижку — расходы все неотложные. А было ещё кино! И хотелось в театр!

Впрочем, признаюсь: главной причиной моего личного финансового дисбаланса были книги. Я даже старался выработать в себе волю к непосещению



книжных магазинов. Но выходило это плохо. А тогда в книжном на Малышева продавались истинные чудеса. Коллекция из собрания живописи президента Филиппин Сукарно: толстые тома — под тысячу каждый! Только облизываться можно! Но без некоторых книжек, казалось, прожить невозможно. Например, “Истории русской журналистики XIX века” Новикова! Спроси меня теперь, сильно ли она пригодилась, я и плечами пожму, а тогда мне казалась жизнь без неё невозможным делом, раз уж я выбрал такую профессию. Был чудный Гоголь в кожаном переплёте и не менее чудный “Пётр I” Алексея Толстого!

Да всё мне в этих книжных той поры казалось невероятно важным, однако недоступным и всё же достижимым, если попробовать ужать свои потребности, и без того скромные.

И вот я доужимался в один прекрасный день. Зажав в кулаке смятый рубль, заказал суп-лапшу. Даже без чая.

#### 4

Тётяшка за кассовым аппаратом, всегда приветливая, — мы знали, её зовут Дуся — удивлённо глянула на меня, пробила чек и взяла мятый рубль.

Я прошёл в зал, состоящий из дюралевых столиков и таких же стульев, принёс себе тарелку с ложкой.

В тот раз я был один, без всегдашних моих приятелей — видно, каждый кашевался самостоятельно. А может, я просто отстал от толпы, мне требовалось зачем-то в город, может, на главпочтамт, ведь именно там, в окошечке писем до востребования, я получал мамины письма и переводы, чтобы они не затерялись на студенческом прилавке.

Большинство нашего народа письма получали где-нибудь во втором перерыве, внизу. Рядом с раздевалкой к стене было прикреплено старинное зеркало с широкой полкой понизу, вроде целого прилавка, и почтальон выкладывал на эту полку целую гору писем, переводов, а то и телеграмм. В перерыве их разбирали, а что оставалось, раскладывали по алфавиту в ящичек, висевший неподалёку, и там эти остатки кисли, пока их не разберут или не вернут почте по случаю невостребованности.

Некоторые письма я получу и на этот прилавок, но потом, позже, а мамины депеши, особенно содержавшие пособия, я предпочитал получать по адресу: “Главпочтамт, до востребования”. Чётко и совершенно надёжно.

Но в тот день я не получил перевода, последнее копейку истратил на трамвай, а мятый рубль проел, употребив лишь один сунец с лапшой. Зато у меня в чемоданчике появился Шандер Петефи! Как без него!

Пока хлебал лапшу, не ощущая вкуса, листал книжку и ликовал. Я и раньше читал Петефи, в девятом ещё классе купил небольшую книжку в красных корочках и восхищался даром Божьим венгерского классика, но тогда я был один. А теперь, заглянув в книжный по дороге с главпочтамта в университет, увидел новое издание, взял моего любимца в руки, нашёл знакомые строки, и мне тут же захотелось прочитать их друзьям. Купил, не задумываясь, и тут, в столовке, опять в одиночестве пока что, восхищался такими великими двустишиями:

*Что ела ты, земля, — ответь на мой вопрос, —  
Что столько крови пьёшь и столько пьёшь ты слёз?*

Мимо тёти Дуси я прошёл, наверное, с отрешённым несколько видом. Помню только, что она проводила меня взглядом сочувственным, даже жалующим, и я запоздало кивнул ей.

Зато перед аудиторией, где сидел после занятий наш народ, я снова раскрыл книжицу, вошёл к друзьям и воскликнул, обращаясь к ним стихами Петефи:

*Что слава? Радуга в глазах,  
Луч, преломившийся в слезах.*

Народ обернулся ко мне основательней, отрываясь от книжек и конспектов, а я, уже в открытую распахнув книжку, прочитал:

*Но почему же всех мерзавцев  
Не можем мы предать петле?  
Быть может, потому лишь только,  
Что не найдётся сучьев столько  
Для виселиц на всей земле!  
О, сколько на земле мерзавцев!  
Клянусь: когда бы сволочь вся  
В дождя бы капли превратилась —  
Дней сорок бы ненастье длилось,  
Потоп бы снова начался!*

Я попал в самую точку! Кто-то ещё скрывал свои поэтические опыты, а кто-то и являл их узкому дружескому кругу, но сочинительством болела, наверняка, четверть курса из пятидесяти душ, а потому Петефи не мог их оставить безучастными. Стихоплёты наши только вступали в образование, большинство и не слыхало имени Петефи, но такие дерзкие строки многому научали, что уж там толковать.

А я был тайне счастлив, даже горд, что кинул камешек в пруд и от него пошли круги. Поэты спорили с непоэтами, эти самые непоэты упирали на содержание, может, впервые все мы слышали известное, но считавшееся непубличным слово “сволочь” в стихах признанного классика — ведь ни у Пушкина, ни у Лермонтова оно не употреблялось, — в общем, вокруг меня раздавались разрывы словесных снарядов, впрочем, не очень-то впечатляющие, и я затих. А ещё немного погода почувствовал голод: тарелка лапши быстро разошлась по клеточкам моего молодого организма, и требовалось подкрепление.

Я, оставив друзей, яростно спорящих уже с цитатами от Лафонтена до Карла Маркса, зачем-то спустился в столовку, но там было пусто. За стеклянной полукруглой витриной буфета — чистые железные полки. Касса тёти Дуси холодно блестит и закрыта на висящий замочек.

Только, может быть, сейчас я разглядел внимательно этот полустеклянный скворечник: деревянная, крашенная в белое основа и склеенный из плексигласа короб на ней. В прозрачной стене проделано кассовое полукруглое окно, теперь тоже запёртое изнутри.

В самой столовой, на раздаче ещё слышались голоса, лилась вода, наверное, отмывали посуду, и там, пожалуй, оставалась какая-никакая жратва. Но я не решился заглянуть в обеденный зал. Достоинство не позволяло.

## 5

Но что же такое это достоинство?

Гордыня? Так это грех. А достоинство — вовсе не грех, наоборот, какое-то преимущество, что ли. Уважение самого себя, может быть? Жёсткое к себе отношение. Не можешь чего-то сделать — отойди, даже отступи, но с этим самым — с достоинством. И переносить всякие сложности тоже надо с ним. Не сдаваться, не унижаться, а одолевать, не жалуюсь, — это и есть достоинство.

Но проще иных всяких зол достоинство поражает голод. Я хорошо помнил ещё недавнее в ту пору собственное детство и маленьких шакалов из восьмой столовки, которые, несмотря на тёток у входа, проникали туда, присаживались за стол к тебе и просили: “Мальчик, оставь!” И я оставлял немного супа или полкотлеты. И хотя по летам своим я ещё много чего не понимал и не знал, что значит слово “достоинство”, но без всяких объяснений жалел человека за то, что он унижается. Из-за голода.

Теперь я знал про достоинство. Однако оно плоховато помогало.

Перевода от мамы всё не было, и я стал занимать. Сначала по десятке. Как и мои дружки, у девчонок. Потом занял полста. Это была большая такая

денга, целый лист, полностью закрывавший ладонь, зелёного цвета ассигнация с Лениным на фасаде. Ухитрился растянуть на целую неделю.

Спросите, почему домой не позвонил? Да просто потому, что телефонов тогда почти не было. Чтобы услышать живой голос, требовалось пойти всё на тот же Главпочтамт, в зал междугородних переговоров, и делать это надо было дня за три, оплачивать заказ, чтобы там, дома, на такой же почтамт вызвали маму. Это сколько же беготни и беспокойства, а главное, мама бы изволновалась до слёз за эти дни до разговора: что такое случилось со мной, может, какая беда?

И, ясное дело, я не звонил, даже думать об этом не думал. Терпел.

А тётя Дуся всё разглядывала меня. По крайней мере, мне так казалось. Я вежливо здоровался, когда доходила очередь до меня, и не глядя в меню, а только в её лицо, весело произносил:

— Щи, котлета, чай!

Она обязательно спрашивала в ответ:

— А какой гарнир? — ясное дело, к котлете.

И тут уж я чередовал: капуста, гречка, пюре. Она называла цену, я протягивал деньги, вежливо благодарил, уходил к раздаче. И в эти мгновенья, повторявшиеся каждый день целых пять лет, я навсегда, оказывается, вписывал в свою память тёти Дусино лицо.

Она не была старой, совсем нет. Ей ещё пятидесяти не исполнилось, это наверняка. Лицо круглое, простое, глаза серые, спокойные, волосы тоже серые, вот губки она всегда подкрашивала, и эти губки немножко меняли цветовую гамму. Обыкновенное русское лицо, иными словами, без особых примет. Только вот улыбочное было лицо у тёти Дуси. Она всем улыбалась. Улыбалась всегда, выполняя, вроде, совсем простецкую эту работу: пробивала чеки, брала деньги, что-то спрашивала совсем незначительное, ей отвечали.

Уж потом, позже, я спрашивал себя не раз: а не надоедали ли ей эти наши повторяющиеся каждый Божий день физиономии всё с теми же, почти одинаковыми словами: суп, щи, борщ, котлета? И понимал каким-то странным образом: нет, не надоедали. Напротив, тётя Дуся не смотрела на нас, а рассматривала. Она как будто вглядывалась в лица этой бесконечной и каждый день повторяющейся очереди. И не уставала нас запоминать. И что-то про нас думать. Про каждого.

Улыбаясь и вглядываясь, она, тем не менее, ловко нажимала на кнопки своей кассы, принимала деньги, давала сдачу, но это происходило как бы механически, помимо её внимательного, доброго, запоминающего взгляда и улыбки, не сходящей с лица.

Что же касается меня, то, наверное, всё дело было как раз в этой тёти Дусиной наблюдательности. Не то чтобы я был вечно весёлым дурачком, вовсе нет. Проходил я и мрачные испытания, связанные почему-то с необходимыми вещами. Кошки, случалось, скребли на душе почём зря! Но всё-таки в целом я глядел на мир более чем радужно! Мне всё время хотелось говорить и улыбаться. А если не говорить, то улыбаться всё равно! И тётя Дуся улыбалась тоже.

Вполне могу предположить, что она улыбалась из вежливости и доброжелательства, а я — от переизбытка щенячьей радости. Мне всё виделось внове, казались преодолимыми любые неприятности, а впереди, где-то там, пока ещё за высокими горами виделась радостная взрослая жизнь. Вот, наверное, улыбочная женщина и разглядела в улыбочивом студентике эту навивную радость, которой всё нипочём, даже голодуха.

И вот в один прекрасный день, когда, отстав от остальных, а может, напротив, всех их опередив, я подошёл к кассе и дошёл до ручки: пробил, улыбаясь, два сладких чая по десять копеек. Но тут тётя Дуся, тоже улыбаясь, сказала мне:

— Да что вы! Вам надо поесть! Пробеите, что хотите, а потом отдадите! Со стипендии. Я запишу, что вы мне должны.

И я сказал ей свою фамилию, которая, оказывается, ей была откуда-то и так известна, и она вписала её в чистую тетрабочку, появившуюся из-под кассы, вместе с суммой, на которую был пробит чек.

Боже! Я не знал, что подумать. Пообедав, хотел снова подойти к ней, но никакого разговора не получилось, потому что перед кассой стояла очередь едоков, сосредоточенных на содержимом своих неглубоких карманов. Так что я просто поклонился ей, улыбнулся и прижал руку к сердцу.

Она махнула на меня рукой.

## 6

Вот таким образом, в кредит, я поел ещё дня три на глазах у всего моего поражённого приятельства. Впрочем, это слово — кредит — было совершенно незнакомо моим поколением. Разобраться, как следует, что кредит требует выплаты процентов, такое выгодное кредитору дельце, мы и не пытались, и тут речь шла о простом долге. Ещё проще: кормёжке в долг.

Дня три тётя Дуся кормила меня в долг, помечая в своей тетрадке дату и сумму, а я, птенец желторотый, распушал перья. Научился брать в добавку к нормативу салатец, извини-подвинься: зелёный нарезанный лук с половинкой яйца вкрутую и со скромным шматком сметанки — настоящее объеденье! Жизнь улыбалась, ей-богу, и мои дружачки стали поглядывать на меня, может, даже с некой завистливостью. Происходило непонятное: стипендию я не получаю, деньги из дома задерживаются, а я жирую, как ни в чём не бывало.

И тут ещё судьба со мной всерьез поговорила. На Главпочтамте я получил от мамы сразу два послания: почтовый перевод аж на 450 рублей и короткое, но печальное письмо: умерла моя бабушка по отцу, родители были заняты её похоронами, и мама задержалась с переводом, извинялась теперь передо мной за свою нерасторопность. Бог ты мой! Да разве я не понимал! И не в деньгах дело, а в том, что бабушки больше нет! И хотя они с другой моей бабушкой — маминой мамой — не ладили, да и мама моя жила с этой бабушкой не в ладах, её было жаль до слёз, что со мной и случилось. Я читал письмо за массивным столом для посетителей большого зала главпочтамта, и губы мои тряслись, а солёные светлые градины непослушно катились из глаз.

На другой день, рассчитываясь с тётей Дусей, я неожиданно для себя в тот момент, когда она отсчитывала мне сдачу с полусотни, которую я ей протянул, спросил:

— Тётя Дуся, а пусть эта сдача у вас останется. Я и ещё добавлю. Зато обед у меня гарантирован, правда?

Она задумалась на минутку, потом рассмеялась и ответила:

— Я буду у вас вроде как сберкасса?

Мне понравилось это выражение.

— Надёжнее! — рассмеялся я.

И отдал тётя Дусе ещё сто рублей.

## 7

Из тех, из 450, мне предстояло рассчитаться за крышу над головой, а это минус двести, да сто пятьдесят в общей сложности я отдал на столовку. Что ж! Французская булка с хрустящим гребешком по спинке за 70 копеек, умноженная на два — утром и вечером, — да масло с сахаром, взятые впрок, обещали постоянство, даже некоторое успокоение — ведь ни о чём печальнее, как прежде, не приходилось. По крайней мере, жизнь пошла как-то ровнее. Несколько увереннее.

Тут уже пора рассказать про моих самых близких сподвижников по курсу, грядущей профессии и, конечно, питанию.

Один из них имел странное имя — Джурка Скок, но никак не соответствовал этому игривому звукосочетанию. Неясно, какой нации или породы, родом из Красноярска, он был улыбчив, круглолиц, внешне добродушен, играл на аккордеоне, который привёз с собой на частную квартиру и нередко брался поиграть чего-то расхожего нам с Бобой Виннером — тот шёл на чистого филолога, был медалистом и от моих забот оказался пока далёк.

Джурка был высоким, достаточно массивным, а на груди первое время носил три медальки, означавшие его победы в стрелковом спорте. И ещё он

считался состоятельным. Я и сам не раз стрелял у него десятку-другую, разумеется, до стипендии, он ведь и стипендию получал, и батя его или, вернее, мать отваливала ему по полтыщи в месяц — это кроме платы за жильё.

Материальный разрыв в две сотни для нас значил тогда очень много, хотя и не стоил очень-то дорого. Повторюсь — триста в месяц чистых только сдержанная еда, двести — жильё, а всё, что сверху — уже дикое барство.

Таким же примерно капиталом располагал ещё один мой дружбан — Минибай с Крайнего Севера. Студенты оттуда принимались по северным льготам и без учёта баллов — только сдай. Вне конкурса. С Джуркой и Минибаем я сошёлся сразу, неизвестно даже, по каким причинам. Просто ходили вместе, да и всё.

С Джуркой же мы вместе рассчитывались за жильё с домовладелицей Анной Павловной, сокращённо — Анапой: первого числа каждого месяца вынь да положи эти 200 карбованцев за предстоящее житьё — посуровой, чем в отелях новых времён, где рассчитываются не до, а после проживания. Но городина наш, уральский столп, был могуч и многообразен в проявлениях своих граждан, не очень-то заботился о таких мелочах, как благосостояние отдельных из них. Особо — беззащитных.

С Джуркой, как, впрочем, и с третьим, Бобой, мы вставали по утрам, умывались ледяной водой — о горячей и не мечтали! — из-под крана в каморчке для туалета размером метр на метр, брали у Анапы — единственная бесплатная радость! — чайник с кипятком, хлебали, обжигаясь, чай, заглатывая при этом вчерашнюю французскую булочку по 70 копеек штука, намазав её при этом ещё и лёгким слоем масла.

Жизнь оживала! Боба, часто обгонявший нас, удалялся первым, и ему вознаграждалось за такую дисциплинированность — он успевал проехать три остановки в троллейбусе, втиснувшись вовнутрь. Мы же с Джуркой вечно отставали, а потому подгребали к остановке в самый что ни на есть час пик — ситуация по утрам менялась за минуты. Наладились со временем и вовсе не спешить, а взбираться на задний буфер троллейбуса и катить, уцепившись одной рукой за сооружение наподобие лесенки, достигая сразу двух целей — не давились в этой забитой народом консервной банке, которая по ходу, бывало, даже приседала на правый бок, где особенно стучалась масса тел, и сэкономили небольшие, но всё же кровные средства.

В другой руке мы всегда держали небольшие чемоданчики. Это сейчас велик ассортимент подручных приспособлений для переноски студенческого барахла — и сумки ручные, и через плечо, и даже рюкзаки за спиной... Тогда бы, небось, подивились. А потому таскали чемоданчики: девчонки — совсем небольшие, сантиметров сорок на тридцать, а наш брат — чуть покрупнее. Входило туда, почитай, всё, что нужно: тетрадки с конспектами лекций, которые нам читали, некоторые учебники, нужные книжки, зачётки, даже булки, если надо, и бутерброды, которые ел народ посостоятельней.

И вот мы тряслись на буфере троллейбуса — одну остановку, другую, третью. Поначалу это было приятное удовольствие без всякого страха. Но троллейбусные власти слышали жалобы своих водителей, и на некоторых остановках появились ловцы. Ловцы безбилетных — это-то ладно и вполне понятно. Но тут явилось племя довольно длинноногих и тренированных мужиков молодого возраста, которые стали отлавливать буферников. Поэтому при подъезде к остановке было желательным выглянуть за бок троллейбуса, — а вытянутой руки не хватало! — и при замедлении хода спрыгнуть и рвануть в сторону, создав дистанцию между собой и ревнителями порядка.

Рука у Джурки была длиннее, он систематически высовывался из-за троллейбуса, обнаруживал или не обнаруживал ловцов, и мы всегда успевали вовремя освободить буфер.

Впрочем, бывали и другие положения. Иногда буфер был заполнен от края до края — на нём висела целая гроздь безбилетного студенческого люда, и я насобачился закидывать свой чемоданишко на крышу, разумеется, не отпуская его, а потом задрать ногу на лесенку, туда ведущую. Вот так, распластавшись, я тряся под дугами, рассыпавшими порой серьёзные искры,

вблизи высоковольтных проводов, а Джурка, размером меня побольше, туда забраться не решался. Но зато исправно шухарил, ограждая нас от поимки.

Всё было ничего, если бы не зима и не грянувшие морозы. Уральская столица охлаждала нас градусами сорока, а то и более, но в университете занятия не отменялись, как в школе, и мы леденели: я — на крутой и неприветливой троллейбусной крыше, а Джурка — на буфере, пока не сходили в нужном нам месте, откуда предстояло драпать ещё три мёрзлых и жёстких квартала до университетского подъезда.

Смею утверждать, что поездки на троллейбусных буферах и на их крышах в декабре 1953 года сглаживали противоречия между людьми, сближали расхождения, соединяли в дружество, которому ещё много испытаний предстояло пройти, но в те дни и месяцы оно казалось совершенно ясным и определённым.

Так и было. Я рассказал Джурке Скоку про договор с тётей Дусей. И Минибаю рассказал. Не помню, кто и как, в какой последовательности и с каким отрывом друг от друга, но они вошли в тёти Дусин банковский консорциум. Сперва поотovarивались в кредит, а потом внесли первоначальные капиталы.

Но никто тогда и слыхом не слыхивал таких слов!

## 8

Зима на Урале в конце года смерти Сталина выдалась пресуровая. Будто где-то на небесах нам прочили скорое будущее — в жёстких, испытующих чертах. Или, если всерьёз считать купол над головой небесной канцелярией, происходил там неведомый перерасчёт баланса: что хорошо будет, а что и не очень.

С мороза мы вернулись в наш гуманитарный корпус и, минуя столик дежурной, неподалёку от входа, невольно улыбались. Не всегда, но часто там сидела худая бабушка в телогрейке, к которой была приколота медаль партизана. Лицо её состояло из одних морщин, глубоких, прихотливо переплетённых, совершенно неизгладимых, зато глаза, всегда остро сверкающие, прошивали нас своим бдительным вниманием. Иногда она требовала пояснений — кто и куда? — но не помню, чтобы заставляла предъявить документы. Мы сразу прозвали её старухой Изергиль — про себя, конечно, ничего отрицательного не вкладывая в этот горьковский символ на охране университета его имени.

И вот в самые что ни на есть холода с улицы в аудиторию откуда-то припёрся Джурка, ошпаренный морозом, и, оседлав стул, сказал, резко по-серьёзнев:

— Сейчас видел на улице афишу. Полное исполнение! Впервые в Советском Союзе! “Реквием” Моцарта! В филармонии!

Ну да! Мы приехали сюда учиться! Понятное дело, требовалось расширять кругозор! Но, ей-богу, “Реквием” даже самого Моцарта, о котором мы и узнать-то могли только из Пушкина, если очень сильно постараться, был так далёк от того издевательского декабря.

Сидели-то мы, кое-как одетые. Тихоокеанец Яков был родом с какого-то юга и замерзал даже здешним летом, а уж что толковать про ударные морозы! Мы тоже не изнывали от липкого пота, скорей мурашки пробегали по остывлым загривкам, нежели негата температурного равновесия.

Яков же первым и выразил своё отношение:

— Холодно! И вообще... Что такое реквием?

— Ну как! — ужаснулся Джурка. — Заупокойное моление! Молитва по усопшему!

Яков не растерялся, пошевелил плечами, и сострил:

— Вот я и говорю — холодно! А ты предлагаешь совсем ооченеть!

Юмор, хотя и черноватый, подкинул несколько щепок в наши остывающие внутренности, но тут заявил о себе Вовка Потников.

— Вы что, братцы! Сейчас у нас какой год на дворе? Пятьдесят третий кончается! Тысяча девятьсот! А Моцарт когда помер? Знаете?

Никто не знал. Мы же не музыканты, в конце концов, и разве обязательно знать такие тонкости? Если, к тому же, не знаешь, когда он и родился-то! Да разве только он?

Джурка хоть и играл на аккордеоне, но безрезультатно морщил лоб, сумев всё же очертить окрестности:

— Конец восемнадцатого века.

— Да мы шас в энциклопедии пошаримся! — попробовал поискать я выход.

— Вы что, братцы! — опять принялся корить нас Вовка. — Пушкина, что ли, не читали? “Моцарт и Сальери”! Или Есенина? Помните? “Чёрный человек?”

Про Пушкина укор был для нас стыдный, даже если мы лишь собирались приготовиться к собственному предназначению, а “Чёрный человек” был известен-то всего двоим: Потникову да Джурке.

И тут, вздохнув, подал голос Игорёк Коробкин.

— Нет, — произнёс он мягким голосом своё твёрдое решение. — Меня увольте. Нагляделся я чёрных человек и похоронных маршей. Уж лучше полежу в общаге под одеялом. Или бы вот в баньку заскочить! В парилочку!

И отважно разглядывая изумлённые лица одних и согласные — других, утвердил:

— Не для нас это, ребятишки! Не для нашего призыву! Вот вы бы ещё могли! Но и вам-то! На что похоронная музыка! Наша-то собственная ещё не утихла! Вспомните, что в марте было! И года не прошло!

Вот так и случаются разнообразные расколы. Яшка-моряк с Коробкиным совпал во мнении, Генка отбоярился отсутствием материальных возможностей, я искренне соблазнился какой-то скрытой таинственностью события: полностью исполняется впервые! Не в Москве, а здесь, среди скал и льдов! Да и с Джуркой мы жили в одном частном доме. Минибай присоединился за компанию, а Боба Виннер прямо-таки заколотился в восторге, узнав о грядущем концерте.

Готовясь к покупке билетов на “Реквием”, мы проштудировали статьи про Моцарта во всех трёх энциклопедиях, которые имели храбрость таиться в нашей благословенной университетской читалке, две — дореволюционные, Брокгауза и Эфрона и Южакова, и одну советскую, тридцатых годов. Моцарт возносился почти в одинаковых выражениях, и почтительно там сообщалось, что “Реквием”, то есть заупокойную мессу, он написал по заказу больного человека, а оказалось, что самому себе. Его жена по имени Констанца заметила, что Вольфганг Амадей — как имя-то звучит! — прямо-таки заболел при сочинении столь печального сочинения, и даже отобрала у него партитуру, чтобы он пришёл в себя. Но 20 ноября он слёг. А 5 декабря скончался! И это был 1792 год! Эвон какая даль!

Мы всё-таки ткнули, видно, резину, собираясь в кассу филармонии, а ещё точнее, нас сдерживал мороз, но уговор дорожке денег, и мы эти билеты купили! Самые дешёвые почему-то ещё оставались, вот удивительно! И этот факт стал слегка понятен только, когда мы явились в концертный зал.

Это, конечно, было открытие! Как будто позади никакой войны! Расфуфыренные дамы, блистая огоньками в ушах и на грудях, и в разноцветных платьях прохаживались с мужчинами при неизменных галстуках, а некоторые из них даже задирали подбородки, чтобы, наверное, виднее было видно их бабочки под самым кадыком, и среди этих мужских бабочек тёмно-бордовым цветком привлекала внимание статья нашего искусствоведа Бориса Васильевича, в сокращении — Бова! Вот он был не только *званным*, но и *избранным* на этот духовный пир!

Мы же четверо жалась вдоль стенки, одетые в то, во что обрядили нас наши родители, отправляя в мир знаний и новых чувств, единственно Джурка ни к селу ни к городу надел почему-то украинскую рубашку-вышиванку. Она, конечно, расшитая красными нитками, бросалась в глаза, но заставляла и ёжиться — ведь такие рубашки шьются без воротника! — и гляделась под Скоковым пиджаком, словно какая-то ошибка. Но Джурка был среди нас единственным музыкантом.

Ещё мы купили простенькие программки, в которых подчёркивались достоинства полного исполнения “Реквиема” именно на Урале, и краткая история его написания, похожая на ту, что мы вычитали в энциклопедии. Уселись почти в последнем ряду. А оглядевшись, увидели, что рядом, и впереди, и позади ещё много таких же вроде студентов, но полно и вполне взрослых, и даже старых. В этих старых лицах светилась какая-то незнакомая порядочность, благородство даже. Какое-то благоговение, а вовсе не удивление, которое, наверное, выражали наши мордуленции, скорее, ожидание чего-то очень возвышенного. Даже радостного.

Вышли музыканты, дирижёр, и весь зал встал, а эти наши соседи выглядывали из-за затылков стоявших перед ними, высматривали кого-то и что-то, и у меня, грешника, мелькнуло, а уж не самого ли Вольфганга Амадея они надеются увидеть там, среди певцов большого хора и музыкантов с блестящими трубами?

И вот тут вышел наш Бова, надо же! Всё так же задирая подбородок над бордовой бабочкой-галстуком, даже, может быть, вглядываясь в потолок, а сквозь него и в небо, он снова, не сбиваясь ни на одно словечко, будто по писанному, рассказал историю “Реквиема” и судьбу гениального Моцарта.

Потом он голосов опустил и сказал не возвышенным, а уже обыкновенным голосом, что “Реквием” длится два часа, в перерывах между частями произведения аплодировать не следует, учитывая траурное значение заупокойной мессы, и через час нас ожидает перерыв.

Зал не ответил ему ни одним хлопком — просвещённый тут всё-таки собрался народ. Только мы четверо между собой переглянулись, не посмеяв даже ухмыльнуться.

Но Бова не уходил.

Снова вскинув голову, он произнёс пароль для посвящённых:

— Интроит: Вечный покой!

— Фуга: Господи, помилуй!

— Хор: День гнева!

— Квартет — сопрано, альт, тенор, бас: Страшный суд Господень!

— Хор: Царь потрясающего величия!

— Квартет: Вспомни, Иисусе Милосердный!

— Хор: Посрамление нечестивых.

И медленно, всё так же взирая на потолок, удалился со сцены.

Я поёжился, краем глаза осмотрел корешей. Всем, а не только мне, было не по себе. Со мной такого ещё не происходило, ведь в церковь нам ходить запрещалось, да разве в нашей церкви и бывают такие мессы? Я сразу, конечно, осадил себя, заметив, что музыка Моцарта, раз её играют в Концертном зале, не вполне церковная, а уже что-то за пределами церкви, потому что это редкая музыка, не зря полностью исполняется впервые...

Но какой-то страх, какое-то вполне определённое смущение, требующее выбора, решимости, даже отваги, мелькнули во мне. Я сообразил, что все эти колебания обозначают: да, непонятный страх.

Как я могу описать то исполнение “Реквиема”? Практически это невозможно.

Я только куда-то поднимался, потом падал, потом что-то и в самом деле, как, видать, и Бову, возносило меня к потолку, и выше, выше, в морозное небо, которое теперь не имело образа места — уральское небо, а только образ действия — небо над нами, чёрное теперь, и не только потому, что стоит тёмный зимний вечер над послевоенным трудовым городом, а потому, что туда, в небо, что-то отлетает, пока не наше с моими дружками, но что-то бесконечно важное, и сему мы должны внимать, если хотим понять непонятное пока таинство жизни и таинство её ухода.

Я ещё подумал про себя нечто для меня заумное и мне не подходящее. Я подумал, что если литература, к примеру, рождается на земле и среди людей, то музыка дается свыше, неведомо откуда, наверное, Богом. Вторым, возможно, следует признать умение художника — ведь научиться рисовать невозможно. Это откуда-то приходит. Кому-то даётся, а кому-то нет.



Музыка лилась, в ней возникали краткие паузы между частями: играл оркестр, пел квартет из четырёх голосов, которые сливались пусть и в непонятный русскому уху латинский текст, но были чем-то близки сердцу, и не только сжимали его страхом, но и открывали непонятную тайну, пропасть, ничто... Пел и хор, будто на чём-то настаивая и что-то подтверждая, порой столь громко, что, казалось, он заглушает оркестр. А потом, наоборот, отступая, стихая, теряя надежду, что ли.

И вдруг всё оборвалось.

Молчание длилось мгновение, люди в первых рядах стали молча подниматься. Старушки возле нас промокали глаза платками. Одни мы сидели, вытаращив глаза, будто мелкая рыбёшка, оказавшаяся на мелководье, не понимая, что будет дальше.

Наконец, до нас дошло, что это антракт. И мы неспешно, как всё наше окружение, выбрались в фойе.

В первые минуты люди, выслушавшие половину “Реквиема”, ходили молча. Постепенно голоса стали крепчать. И вдруг послышался, как мне показалось, окрик. И окликали человека с моим именем, но не меня же — ведь я был здесь пришлый.

Всё-таки я механически обернулся. Вот тебе на! Ко мне сквозь толпу пробирался Герман! Тот самый безрукий парень, которого тётя Лиза заставила проводить меня до остановки к университету.

Мы не виделись почти полгода, да и знал-то я его едва-едва, но он шёл ко мне, как к давнему знакомому, улыбался во весь рот, и будь у него руки, наверняка бы раскинул их, чтобы обнять меня. Но рукава были спрятаны в карманы пиджака, а обниматься тогда не было принято, и Герман просто приблизился ко мне и легонько боднул меня головой, так что мы поздоровались головами.

— А? — восклицал Герман. — Какое чудо! Великий, великий, великий Моцарт, а, ребята?

Герман был одет совершенно странным образом: явно нерусский, в клеточку, костюм, а под ним — рубаха с рюшечками и тёмно-синяя бабочка, как у самых избранных тут мужиков, вроде нашего Бовы. Этот вид можно было бы признать заморским, если бы такое выражение ходило в тогдашнем государстве. Где-то вдали, ясное дело, в столицах, через несколько лет появятся стилиаги, но это ещё только предстояло и на нашем строгом Урале пока не взошло. Но Герман уже что-то значил!

— Понимаешь, — спросил он, обращаясь не только ко мне, но и ко всей нашей компании, — отчего я страдаю больше всего? У меня абсолютный музыкальный слух. А рук нет. И голоса Бог не дал!

Поразительный парень! Говорит о своих лишениях, но так, будто это для него радость! Мои содруги глядели на Германа, как на какой-то розыгрыш. Может быть, даже мой, потому что недоумённые их взгляды касались и меня. А Герман не унимался.

— Что случилось, то прошло! — это он о себе кратко так отозвался, и тут же продолжил без перехода, обращаясь ко мне. — А я теперь, кроме английского, освоил немецкий. Буду полиглотом. На очереди испанский и итальянский! Так вот именно теперь я штудирую всё, что можно узнать о Моцарте!

Он оглядел наше разностилье, но не удивился, а спросил:

— А вы знаете, как он умер?

— Его отравил Сальери, — ответил наш аккордеонист в вышиванке.

— А какая выгода в том Сальери?

— Зависть, ведь об этом и пишет Пушкин, — вставил свой веский аргумент Потников.

— Но Сальери, — сказал Герман, — был главный капельмейстер короля, его оперы — знаменитее моцартовских, он не чета Моцарту, близок к власти, ему всё доступно. Чему завидовать?

— О! — не согласился Вовка. — Завидовать гению могут и цари!

— Вопрос не закрыт! И не закроется никогда! — проговорил Герман

каким-то вдруг затуманившимся голосом. — А Сальери сошёл с ума. Имя его известно теперь только благодаря Моцарту.

И вдруг спел по латыни, похоже, из того, что мы только что слышали.

— *Лакримоза днес илла,  
Куа ресуржет экс фавилла  
Юдикантас хомо реус\**.

И тут же перевёл:

— *Полон слёз тот день,  
Когда восстанет из праха,  
Чтобы быть осуждённым, человек.*

Он снова боднул меня лбом и, уже отчаливая, воскликнул:

— Не забывай тётю Лизу! Заходи.

И скрылся в человеческом круговороте. Только тут я заметил, что за ним кинулись две девахи, стоявшие в некотором от нас отдалении. Рассматривать их времени не доставало, и я подумал — не очень точно, — что Герман похож на метеор с небольшим, в две девицы, хвостом, и надо, конечно, побыть у тётю Лизы.

А то выходит как-то неблагоприятно.

## 10

Мы вышли из филармонии на мороз в сильной задумчивости, и шагов тридцать, быть может, прошагали в молчании, собираясь, наверное, с мыслями, а ещё точнее — отыскивая их в собственном сознании и пытаясь воссоединить с речью, со словами, которыми будет обозначено небывалое впечатление.

Но — и верно! — бытие определяет сознание. Мороз, давший себе волю с приближением ночи, продрал нас до костей за эти тридцать шагов, и мы, не сговариваясь, и всё так же молча, сперва прибавили шаг, а потом побежали к троллейбусной остановке, которая пребывала в значительном от филармонии удалении.

Когда мы подбежали, троллейбус медленно трогался, захлопнув двери, и мы вкочили на задний буфер, почему-то сохранившийся, к нашему удивлению. Больше того, случилось и почти чудо, которое мы тогда отчего-то не раскусили, а потом было и не до такой мелочи. А случилось вот что. Наверное, мы дружно, да и впятером-то — сильно, навалились на заднее троллейбусное стекло, и оно, окантованное перемёрзлой резиновой прокладкой, неторопливо упало вовнутрь почти пустого троллейбуса. Мы дружно охнули. Было бы логичней и безопасней прыгнуть с буфера, но, видно, благодатная музыка, только что наполнившая наши души, отвергала даже самую малую мерзость или просто неправильность, и мы проехали сколько-то метров в молчаливом онемении, а потом я вдруг полез в пустую амбразуру. Почему и зачем, объяснить совершенно невозможно и по сию пору. Но первое, что я сделал, это аккуратно переложил выгнутое стекло на спаренное кресло впереди, потом двинулся к водителю. Это была женщина в берете, подвязанная сверху платком. Кабинка её отделялась от салона, где-то в районе пола светила розовая спираль нагревателя, я постучался. Он приоткрыла дверь, и в самой доброжелательной интонации я сообщил водительнице, что у машины провалилось заднее стекло.

Она даже не очень-то и глянула на меня. Кивнула согласно и миролюбиво, объяснив:

— Резина мороза не выдерживает!

И помолчав, прибавила:

— Довезу вас и сойду с линии.

Я обернулся назад и увидел, что все мои друзья уже в троллейбусе. Я плюхнулся рядом, улыбаясь:

\* *Lacrimosa dies illa, Qua resurget ex favilla Judicandus homo reus.*

— Нас довезут! Наверное, до круга, где все они паркуются.

Народ оживился. Мы говорили немного и ни о чём. Мороз выстудил окончательно и так-то стылый троллейбус. Едва сдерживались от трясушки, какой тут разговор. Потом вышли Минибай с Володькой — они обрелись в общаге. Потом наша троица. Выходили через переднюю дверь, кланялись шофёрке или как её требовалось назвать? Она кивала, не придавая ровным счётом никакого значения неожиданному происшествию.

Дома, отогревшись чаем, мы немного помолчали.

Скок вздыхал, Боба повторял: “Потрясающе! Потрясающе!” А я признался:

— Это не для нас! Мы, наверное, ещё глупы!

Скок в очередной раз вздохнул, Боба вяло возразил, а ещё через четверть часа все трое дрыхли, опалённые морозом и неведомыми звуками великой музыки.

Почему мы провалились в сон, глубже, чем всегда? На это могла ответить только грядущая жизнь.

В ту ночь мороз свирепствовал зачем-то чрезмерно. Ворочался в стенах деревянных домов — слабое, видать, место человеческого обитания! — и нашу избёнку, сверху-то городского вида, пару раз так тряханул в ту ночь, что нам показалось, будто в стену ударил какой-то заблудившийся с войны снаряд.

Мы проснулись, обменялись междометиями не вполне достойного звучания, повернулись на бок и вновь устремились в счастливое — по возрасту — царствие бога Морфея.

## II

Однажды вечером, часу, пожалуй, в десятом мы с Джуркой трусили из читалки в сторону дома со своими чемоданчиками уже от другой остановки — трамвайной. Проехать там было дешевле, а по вечерам — свободней, но идти пёхом требовалось не три, а четыре квартала, зато мимо магазина.

В магазинчике этом стояла высоченная, под потолок, пирамида консервных банок с непонятным словом “Чатка”. Их никогда никто не покупал, и они смотрелись таким скорее даже памятником чему-то нам неясному. Лишь немалые годы спустя окажется, что это камчатские крабы — необычайной ценности продукт, который мы когда-то не ценили, а вот теперь достать не можем и только грезим картинами прошлого.

Это часто случается, увы. И не только по случаю крабов, но и вообще миновавшей жизни. Итак, из трамвая мы вышли в снежную бурю, заглянули в магазин, поудивлялись мысленно пирамиде “Чатки”, взяли стандартные булочки, ещё что-то, более чем скромное, и отправились в сторону дома.

Ветер, будто злобный пес, сорвавшийся с цепи, не то чтобы валил с ног, но заставлял склоняться в его сторону, сёк лицо, врвался под наши пальтеца.

Параллельно нашей дороге тянулись рельсы в трамвайный парк, и на них скопилось множество вагонов. Освещённые изнутри, но пустые и молчаливые, они казались какой-то неземной улицей, а происходящее с ними — большой аварией. У каких-то вагонов впереди, ближе к трампарку, всё-таки взметывался снег, слышались голоса, слабо постукивали фанерные лопаты. Пути трамвайные от ворот парка расходились в разные стороны, и совсем недалеко от нашего дома нам предстояло их перейти.

Тут-то мы и столкнулись лоб в лоб с нашими сокурниками. Это были Игорёк Коробкин и Генка Шидрин. На них топорщились телогрейки, видать, казённые, а у шапок-ушанок были опущены уши, перевязанные у подбородка. Чистые зэки!

В руках они держали скребки и отбивали ими лёд, выросший на трамвайные рельсы.

— Э-э, ребята! — тормознули мы. — Вы чо тут?

Игорёк и Генка остановили работу, приблизились к нам.

— Вишь, какая буря! — возмутился Игорёк, будто это мы с Джуркой её вызвали.

— До утра придётся! — вздохнул Гена, флегматичный, в общем-то, человек.

— Ну-ка, дай! — отобрал у него скребок Джурка. И минут пять скрёб рельсы, наклоняясь навстречу ветру. Я держал его чемодан.

— Почему говоришь — до утра? — спросил я обоих ребят в рабочих одеяниях.

— Да мы тут подрабатываем! — хохотнул Игорёк. — Стипёхи-то — тютю! Не хватает! Вот по ночам и калымим. Через ночь.

— А утром — на лекцию? — спросил я.

— Ну да! — ответил шустрый Игорёк.

— Да вот нынче невезуха! — прибавил Генка. — Метель зверская!

Из снега вынырнул Джурка. Весь вид его был какой-то смущённый.

— И сколько вам за это полагается? — спросил он ребят.

— По сотне в месяц каждому в руки, — ответил Игорёк.

— Вообще-то бабья работа, — пояснил Гена, — да вот кто знает, что выкинут небеса?

Мы покивали, покрякали, удалились домой — было до него метров с полста. Запивая вечерние булки горячим чаем, думали об одном и том же, хотя вслух этого и не произносили. А думали о том, что мы-то буржуи в сравнении с этими пацанами. Пришли к выводу, что и нам следует найти работу, но вряд ли такую. Надо бы что-то поближе к будущей профессии.

Между тем Игорёк, соскребавший с рельсов наледь, не был никаким пацаном. Он отслужил в армии, захватил немного войны, но не на передовой, а как раз в тылу, на охране аэродромов. Позже выяснилось, что журналистику выбрал потому, что пописывал стишки, потом окажется, что плохонькие, но их напечатали пару-тройку раз в какой-то авиационной газете, и кто-то посоветовал ему отправляться в гуманитарии, на газетное дело, тем более что солдаты прошедшей войны зачислялись вне конкурса.

Он был невысок ростом, щупловат и лысоват, но всегда весел, даже жизнерадостен, готов был преодолеть любые тяготы.

Вот таким вот и встретился он мне наутро, шустр и бодр, и сходу попросил десяточку до стипендии. Я полюбопытствовал, как прошла ночь, и он весело сообщил, что пришли они под утро, но уже выспались и полны сил. Рядом стоял Генка. Этот был нашего поколения, волосы имел совершенно пшеничные, а ещё отчего-то всегда красное, будто загорелое лицо — все внешние признаки здоровья. Однако, в отличие от Коробкина, был мрачен.

— Пожрать бы! — сказал он устало.

Основные денежные резервы, как было сказано раньше, я передал в счёт будущих платежей тёте Дусе, и единственное, чем мог помочь, так повести ребят к ней и попросить её пробить им чеки на еду в счёт сокращения моего баланса. Я так и поступил. Махнул им рукой, мол, следуйте за мной, и подошёл к тёте Дусе для изложения просьбы. Поняв мою сбивчивую речь, она спросила меня:

— Где они?

Я указал рукой за свою спину. Двое моих протеже вежливо ей улыбались, да и вообще их лица были ей, конечно же, знакомы.

— Пусть подойдут, — спокойно сказала она мне. И утешила: — А вы не беспокойтесь.

Она достала из-под кассового аппарата свою тетрадочку, Коробкин и Шидрин продиктовали ей свои фамилии, пробили чеки и расположились со мной за столиком. Подвалили Скок и Минибай.

За едой Коробкин проговорил задумчиво:

— Вот кастрюлю надо кушить с лучки!

— Кастрюлю? — удивился кто-то.

И шустрый Игорёк поведал, что они с Генкой на обед варят вермишель в казенном чайнике. А это не больно-то удобно. Не дай бог, комендантша увидит! А в кастрюле — вполне цивилизованно, можно наварить, на подоконник выставить, утром разогреть.

Снова заговорили о студенческих балансах, и выяснилось, что, оказывается, весовая вермишель и есть самая дешёвая и сытная жратва, если нет денег. Век живи, век учишь!

Из столовки выходили весёлые и сытые. Конечно, тётё Дусе “спасибо” каждый отвесить не забыл. Она мельком улыбнулась, сверкнула губками в серой своей кассе и принялась за своё — к ней очередь стояла.

## 12

Но на самом деле самые простые подробности жизни занимали нас не в шутку. Не хватало денег до стипендии даже у нас, обозванных благополучными. Не хватало денег тем, у кого не было родственной поддержки, даже нашим старослужащим, и образование выходило как бы боком. К тому же почти никто не знал, как получить дальше. Ну, поедом работать в газеты. А если — в районные? Там же платят гроши! При нашей нынешней стипендии в 220, на свободе и с дипломом может светить, к примеру, 600, а то и 800, как слышится в коридорах. И что далее?

Угнетала ли перспектива? Да нет! Молодые всегда верят в удачу, а старожилы прошли испытания и утешали сами себя: “Прорвёмся! А жить экономно — высшая благодать!”

Стремление к такой благодати довело меня, можно сказать, до сраму!

Дело в том, что наша Анапа, согласно ею же предложенной услуги, раз в десять дней меняла нам постельное бельё, и это входило в стоимость проживания — те самые 200 рэ.

Но если желаешь, чтобы тебя ещё обстирали, гони рубль за единицу белья. Рубашка — рубль, и трусы — рубль. Ну, это ещё куда ни шло. Но рубль же следовало платить и за пару носок, и сюда не входит штопка дырок, если они есть, за это — особо; и за носовой платок — рубль.

Это возмущало. И без конца обдумывая вопросы личной экономии, я однажды создал некое экономическое изобретение. Утром, когда мои соседи ринулись на учёбу, насев как куры на троллейбусный шесток, я сказался нездоровым и от лекций уклонился. Однако с небольшим отставанием поднялся, оделся и собрал всё своё грязное бельё, скопленное уже давненько. Всё это легко поместилось в чемоданчик, и я двинул в городскую баню — привычное место, где мы угревались каждую неделю.

Мужское отделение было просторно, имело этакие бетонные столбы от потолка до бетонного же круга, куда ставили железные тазы, и с четырёх сторон столба сияли латунные широкогорлые краны, выплескивающие как кипяток, так и ледяную воду.

Я был сосредоточен на своей идее, народу в помывочном зале присутствовало немного, на что я и рассчитывал, поэтому сложил в шайку всё своё нуждающееся в стирке бельё.

Я даже сам-то себя водой не облил. Наполнил таз водой и стал драить куском хозяйственного мыла свои трусы, майки, носки. Стесняться и таить-ся я не собирался, потому что не видел в своих действиях ничего греховного, напротив, даже внутреннее изумлялся своей находчивости.

В другом конце зала поливался какой-то старик. Ещё один пристроился от меня невдалеке и чем-то так себя намылил, что походил то ли на гусеницу, готовую стать бабочкой, то ли какой-то мыльный кокон.

Он всё тырился в мою сторону, да намыливал себя.

И вдруг произошло непонятное. Сначала в раздевалке послышался какой-то топот, многоголосый шум, потом дверь в мойку распахнулась, и в неё посыпался голый молодой народ. Парни захватывали тазы, наливали воду, тут же обливались, весело матюкались, усаживались на лавку, и в три минуты помывочная стала походить на площадь, набитую парнями-гольшанами. Я сразу допёр, что это солдаты, что их привели с утра пораньше по каким-то причинам, известным их командирам, скорей всего — пока гражданских нет. И все эти ребята были если и постарше меня, то на год от силы.

На длинной лавке со мной устроились два или три парня, глянув на грудку моего бельишка, спросили, чуть ли не хором:

- Гражданский?
- Фэзэушник?
- Студент?

Пришлось кивнуть, а один из этих, стриженных нагладко, сказал назидательно другому:

— Вот видишь, рядовой Сидоров! Студенту приходится самому бельишко в бане стирать! А тебе, барину, как выйдешь в предбанник, армия наша подаст свежие кальсоны! Живи да радуйся!

Ни до, ни после этой помывки я не слышал больше такого банного ликования. Вода лилась из многих кранов сразу, молодые голоса заглушали друг друга, шайки с грохотом летели на бетонные скамьи, словом, царило чрезвычайное оживление — и десятки, десятки молодых солдатских тел, совершенно одинаковых в своей наготе, оживлённо передвигались по мойке. Пожалуй, только по редким чёлкам можно было обнаружить старшин да сержантов.

И вдруг этот многолюдный зал замер.

Грохнула деревянная входная дверь, разрезая пространство, расталкивая руками молодые тела, возникающие на пути, шлёпая калошами по мокрому полу, по мойке двигалась взлохмаченная, непричесанная и слегка горбатая старуха.

Она не смущалась множеством обнажённых мужских тел, — похоже, много наглядываясь на них эта крючконосая старуха, сидящая в предбаннике на охране шкафчиков с бельём. Но сейчас она была зачем-то здесь, полна жуткой решимости и двигалась — я понял это не сразу — ко мне.

— Ты что делаешь? — крикнула она, приблизившись. — Правил не читал!

С каждым её выкриком я вздрагивал не столько от испуга, сколько от полной неожиданности.

— Здесь баня!

Я согласно кивнул: конечно.

— Здесь не прачечная! — я снова кивнул. — Прачечная за углом!

— Выходи! — воскликнула в конце всклоченная старуха. — Будет протокол.

Ударение она поставила на первом слогое, и я, конечно, сызмала знал, что это неправильно. Но теперь неверное ударение прозвучало уже почти как приговор.

Я был раздавлен. Но сначала-то всё-таки сильно смущён. Ну, да и как должен чувствовать себя семнадцатилетний и совершенно голый человек любого звания перед всклоченной, крючконосой, страшноватой старухой в помывочном зале городской бани? Да ещё и в десять часов утра?

Однако ко мне пришла помощь. Совсем неожиданная и удивительная. За меня вступилась армия, чёрт меня, штатского, подери!

— Эй, бабуля! — крикнул вдруг тот, что про кальсоны объяснял. И видя, что она на него не глядит, громко хлопнул о лавку железной шайкой. — Эй!

Только тут она к нему оборотилась.

— Не видишь! Это — наш! Не трожь его! Его только что направили! Ему ещё бельё не положено. Это наш младший командир!

— Э! — вызверилась беспощадная старуха. — Таких командиров не бывает! Чтоб стирал в бане! Салака, а не командир.

Да уж, старушечья разбиралась в голых парнях, могла отличить командира, пускай самого младшего, от салаки.

Но тут вся солдатская команда взяла меня под своё покровительство. Кто-то засвистел, и его охотно поддержали, кто-то забил шайками о бетонные лавки, и получался барабанный бой. Кто-то заорал — весело, опять же с матерком, и старуху забила эта шумовая какофония.

Она развернулась и зашлёпала обратно, даже, поскользнувшись в своих калошах, попробовала упасть, но голые молодые ребята бережно подхватили её и проводили до самой двери.

— Ты погоди, — повернулся ко мне мой защитник, — мы сейчас пойдём все вместе одеваться! А то ведь эта карга ещё тебя заклюёт!

Он помог мне выжать из моего бельишка воду, выкрутить его почти досуха, и я под боевым прикрытием вышел в раздевалку, сунул мокрое барахло

в свой чемоданишко, упаковав в газету, стал оглядываться, чтобы хоть как-нибудь поблагодарить сочувствующего солдата, но никак мне это не удавалось. Одинаково голые превратились в одинаково белых — кальсоны и рубахи одинакового покроя, а потом в одинаково зелёных — у всех похожие гимнастёрки, сапоги, пилотки.

Так я и не поблагодарил своих защитников. Одевшись почти враз, все затопали сапогами и стали выходить из предбанника. Мой штатский вид, конечно, выдавал меня, но я спокойно миновал всклокоченную старуху, сидевшую за столиком при входе. И она увидела меня. И я вежливо попрощался с ней, кивнув. И что удивительно, она ответила мне тем же.

Видно, не решилась противиться силе.

### 13

Конечно, я ругал себя. Не так, чтобы уж очень сильно, но всё же. Ну, сэкономил я, допустим, рублей десять или даже пятнадцать. И это, предположим, актив. Правда, вернувшись домой, обнаружил, что чемоданишко мой изнутри совсем промок и требует отдельной сушки — это раз. Два — снисходительный взгляд из кухонного окна Анапы, когда я развешивал на веревке свои тряпушки. Дескать, ну, и стал ли ты богаче? А три — это уютю, который всё равно я попрошу у Анны Павловны, потому что если ещё носки и трусы можно натянуть на себя неглаженными, то с рубашками такое изобретательство не пройдёт. Ну и, конечно, целый день потерял, и даже не в прогуле дело, а в том, что оказался со своей стиркой-мывкой совершенно одинок. Даже про баню, полную солдат, толком не расскажешь — из рассказа этого уйдёт образ крючконосой старухи, толпа голых солдат и защита моей персоны, поскольку она совсем не героической для меня-то выходила.

Ну, и поголодать пришлось. Вместо обеда у тёти Дуси выпил я кружки три горячего чая и пару булок под него смолол, но это же не еда!

Я ложился на кровать, смотрел в потолок широко раскрытыми глазами, понуждал свою молодую голову что-нибудь придумать потолковее для улучшения собственной жизни и противления окружающей бедности, но ничего толкового не выходило.

Тогда я шагал по маленькой комнате, всего-то метров в десять квадратных. Но пространство занимали три кровати, стол, три стула и что-то вроде этажерки с книгами — не разойдёшься, не разгуляешься и ответа методом шатания не найдёшь.

Я сел за конспекты. По марксизму-ленинизму, конечно. Требовалось много всяких статей и работ проштудировать и выписать главное — это и называлось конспектированием. Нам обещали учитывать конспекты при зачётах, а то и экзаменах, таким образом — и очень даже эффективно! — заставляя читать классику. Но у меня и раньше-то с этим туго получалось! Читал, допустим, Карла Маркса про 18-е брюмера Луи Бонапарта, и ни один из них мне в голову не лез — ни Луи Бонапарт, ни брюмеры, ни даже — грешно признаться! — сам Карл Маркс. Чего-то он всё бранил этого Луи, чёрт бы их побрал всех вместе взятых. Но! Такого ведь вслух не произнесёшь — это мы твёрдо знали! Могут ещё и зачислить неизвестно куда — в антимарксисты, не приведи Бог, или просто в дураки. Уж совсем глухое болото!

Карл Маркс — не будем про остальных, — конечно, гений, никуда не денешься. И разоблачал капитализм, без сомнения. Но капитализм — это когда одни богатеют, а другие беднеют. У нас — другая формация, и богатых нет. Значит, беднеют все. Но где то самое богатство, которое у капиталистов есть, а у нас его нет?

Конечно, вполне понятно, была война, и в этой войне погибло всё богатство, которое можно было людям как-то дать. И теперь-то у нас понятная всеобщая бедность — вот бельишко приходится в бане стирать, — потому что всё идёт на ремонт после войны. На стройки. Зато в будущем-то всё это вернётся ко всем к нам, и нечего тут ныть — всё в будущем! Ясно, как день! Накопление народных богатств произойдёт постепенно! И при чём тут Карл Маркс, 18 брюмера, Луи Бонапарт — неизвестно. Ну нет, конечно,

из уважения к Карлу Марксу это всё можно и законспектировать, тем более что деваться некуда! И я сел за стол, начал читать и переписывать чужие выражения в свою тетрадку, чтобы — что?

Я вздыхал, глядел невидящим взглядом на свои трусы и майки за окном, совсем окостеневшие от мороза! И противоречия, которые я никак не мог сформулировать, томили меня.

Чувствовал только одно, мне вполне понятное: надо что-то делать самому! Чего-то добиваться! Искать выход!

Да и то — пять лет учиться на журналиста, пять лет ждать от мамы переводов два раза в месяц! И пять лет стоять в очереди к тётке Дусе, думая, как хорошо, что она есть! А если не станет?

## 14

Словно услышав меня, она заболела.

Наперезанимая друг у друга и у девчонок, урезав меню и перехватив, как попало, мы собрались в маленькой аудитории своей кучкой. Причалили Коробкин с Шидриным, зашёл Яков Сенгур — бывший тихоокеанский моряк, как и Коробкин, из последних военных призывов.

Экономические проблемы конкретного студенчества послесталинского периода возникли, видать, по зову живота, хотя мы всё-таки уже кое-как, но поели, что призывало к разуму и уравновешенности.

— Как жить, пострелы? — спросил, ухмыляясь, Яша. — Страшитесь бытия? Как видите, всё по классику, оно определяет сознание!

— Да нету у нас никакого сознания! — преувеличил я.

— Есть, есть! — воспротивился Сенгур. Его и Коробкин поддержал:

— Ещё какое!

И утвердил, как гвоздь забил:

— Только вы его пока не ощущаете!

Остальные похохатывали:

— Пока вы тут бадуетесь, — глубокомысленно и авторитетно заявил Яков, — никакое сознание вам не указ. — Вот это было уже по делу. Я согласно кивнул.

— Что ты советуешь? — спросил вежливо Минибай.

— Взять вагон!

— А что! — воскликнул Игорёк Коробкин, представитель старой закваски. — Нас тут сколько? Шестеро! Запросто угольный вагон можем разгрузить!

— Согласен возглавить, — кивнул Снегур. — Вас ведь, интеллигенцию, учить всему надо.

Подумав немного, поговорив о подробностях дела, на которое звали старослужащие, услышав их предупреждения, что нужна для такого дела бросовая одежда — её потом не отстирать, — по зиме ещё и фуфайка, вроде известных эковских, а идти на разгрузку предпочтительно в ночь, так что лучше всего браться за дело в субботу, чтобы не пропускать занятия, а потом — сразу в баню.

Лично я глубоко задумался. И баня на железной дороге, особенно порадовал Яша-моряк, бесплатная для грузчиков — только мыло да вехотку не забывайте.

Чем больше слышал я этих реалистических подробностей, тем больше сомневался именно в экономической целесообразности такого воссоединения бытия и сознания. Мне почему-то совершенно не верилось, что таким разгрузочным путём, с помощью перемещения каменного угля из громадного вагона сознание наше изменится к лучшему, а бытие усовершенствуется.

Я попробовал осторожно возразить:

— Но горный институт за углом! Пусть горняки этим занимаются. Мы — журналисты! Почему не смотрим сюда?

— Хе, журналисты! — усомнился Коробкин. Тут же поправился: — Это конечно! Но кто же и где нас ждёт?

— Ну, а почему, — поддержал меня Джурка Скок, — нам самим не пойти?



Минибай тоже кивал, принципиально соглашаясь.

— Не выгонят же! — агитировал я. — Придём. Представимся. Мы, мол, студенты журфака. Дайте задание. Напишем чего-нибудь, переделаем, ещё раз переделаем! Но надо же учиться! Мы уже здесь!

Мнения всё-таки раскололись. От решимости куда-то идти и о чём-то писать до искомого вознаграждения путь был тернист и неверен. А дорога от железнодорожной станции и разгрузки вагона до выдачи денег поутру даже без предъявления документов — коротка и очевидна.

Яков, Коробкин и Шидрин пересели друг к другу поближе, и разговор у них оказался совершенно конкретным. Так что они быстро разошлись.

Наша троица тоже недолго мыкалась. Мои приятели предлагали просто идти в редакцию и попросить задание. Я, как имеющий опыт, раскрыл свежую газету и прочитал в разделе объявлений, что через два дня открывается выставка лыж и другого спортоборудования для зимы.

## 15

Мы бродили по этой выставке, озираясь, нет ли конкурентов с блокнотами и фотоаппаратами. Однако открылась она в воскресенье, народу ходило совсем ничего, а лыжи — и такие, и этикие, и гоночные для соревнований, и широкие, для охотников, сияли лаком и зывали к потреблению.

Управители стендами разговаривали с нами охотно, и узнав, что мы студенты-журналисты, совсем уж располагались к нашей троице. А один мужичонка, красноносый и широкий, даже подморгнул нам, указывая за кулисы. И мы, грешные, не устояли: сперва из наивности мы туда просто заглянули, а увидев стол с крепкими напитками, спархнувшись назад. Но широкий дядька нас попридержал, дал неказистую листовку с рекламой продукции, а потом всё-таки налил чего-то цветного, но не коньяк, пояснив, что это снимает усталость с охотников, прошедших километров сто на лыжах — прямо-таки в пять минут.

И он заставил нас пригубить этот напиток, выставив откуда-то белоснежные, завивающиеся и холодные кусочки. Я подумал, что это сало. Но это оказалась строганина, рыба нельма, прямо из Якутии, да и сам лыжных дел начальник раскрылся широкой душой, что по нации он якут, а якуты все очень добродетельные и щедрые, потому что в Якутии оччень холодно, и все должны помогать друг другу. Его имя, в знак благодарности, как и его продукция для зимней охоты, мелькнут потом в нашем пробном сочинении. Жаль, что лишь мелькнут, потому что написали-то мы про него щедро, живописно и впечатляюще, да строгие редакторские ножницы всё это отрезали.

Широкий якут настоял на трёх рюмочках с православной убедительностью — “Бог троицу любит!” — и мы, наперебой расспросив о его славной жизни и деятельности, покинули удалённый от центра города павильон.

Это нам и помогло. До выставки, да ещё в воскресенье, штатные корреспонденты и правда не добрались. А потому когда мы, злостно пропуская лекции, явились с утра в редакцию газеты, носившей название “За смену!”, да ещё и прямо в приёмную редактора, говорить с нами долго не стали.

Вышла какая-то поджарая и не старая дама, нетерпеливо узнала, кто мы и откуда, забрала заметку, которую мы напечатали на казённом университетском “Ундервуде”, удалилась, а очень скоро вернулась и, уже улыбаясь, сообщила, что заметка на первый раз принята, но пойдёт с сокращением, а вообще нам надо познакомиться с отделами. Сдавать заметки туда. А уж отделы будут и задания давать, и материалы ставить.

Мы, дружно вскочив, кивали, были внимательны, как дрессированные псы, готовые верно служить, что получило немедленную оценку. Женщина, представившись Эльзой Павловной, тут же окликнула невысокого курчавого человека едва нас постарше. Его звали Толя Пудоль, он учился на четвёртом курсе нашего же факультета, но уже работал в штате, куда приглашали до окончания вуза лишь выдающихся, если и не мастеров, то подмастерьий.

Всё это сокрушало наши прежние устои, тут же возводя новые. Толя Пудоль, отвергнув наше вежливое желание узнать его отчество, повёл в свой

кабинет и стал расспрашивать о наших творческих успехах. Из расспросов прояснилось, что вообще в газетах ранее печатался только я. Это его не огорчило. Бросив фразу: “Ну, надо же когда-то начинать”, — он стал расспрашивать, что нас лично — каждого — интересует в этой жизни особенно.

Вот вопрос был так вопрос! Мы не знали, что ответить. Толя Пудоль, в которого мы все трое сразу влюбились, улыбнулся, не смущаясь:

— И меня тоже сперва интересовало всё подряд. Но каждому материалу нужна тема, идея. Важен жанр — очерк, интервью, информация, она может быть развёрнутой, содержательной, даже сенсационной.

Мы ушли в университет, опоздав на несколько пар, — два занятия по часу отводились каждой дисциплине, — и весь день нас трясло и покачивало.

К концу занятий все уже знали, что мы побывали в редакции. А наутро нас ждала оплеуха. Из заметки про лыжную выставку было напечатано не больше тридцати строк из двух-то с половиной страниц. Просто сообщение — и всё. Хорошо ещё, что не выбросили про широкие якутские лыжи для охотников и фамилию дяденьки, который угощал нас строганиной из нельмы.

Эх, что это было за угощение! Но и что за позор — всего тридцать строк! И под таким позором стояли сразу три фамилии. Ну, и тяжесть же подняли эти три молодых парня!

## 16

Надо же! А нас поздравляли! Особенно эта угольная троица во главе с мэтрсом Яшкой! Причём вполне искренне, как ни взглядывайся в них: никакой сатиры или подвоха. Джурка Скок пытался оправдываться, размахивал аж двумя с половиной страничками нашей эпопеи про лыжную выставку, напечатанными под копирку, пытался ещё и цитировать отдельные творческие находки, но даже Минибай его осадил. Всем ведь свой черновик не предьявишь. Но зато очевидны лишь тридцать жалких и сухих строчек, да ещё с тремя сразу фамилиями! Вот гиганты пера!

Руководствуясь, видно, чувством гуманизма, угольщики выдали нам по двадцатке в долг, ибо мы не ведали, состоится ли литературное вознаграждение, когда, да и вообще, удобно ли об этом рассуждать, а друзья-трудяги, сбив мозоли на ладонях, уже чавкали свою победу, пусть не такую публичную, как мы, но вполне съедобную. К тому же тётя Дуся всё болела.

Однако тем всё дело не кончилось. Однажды нашу троицу встретил в коридоре Зиновий Абрамович Яновский, приземистый, широкоплечий, седой старикан, преподаватель газетной техники. Был он обстоятелен, нетороплив и подчёркнуто ко всем доброжелателен, считался мэтром, потому что до войны служил собкором центральной газеты с каким-то индустриальным названием, а значит, уважаемым журналистом в уральской столице.

Остановив нас, он улыбнулся и поздравил с дебютом в местной газете, сразу объяснив главное:

— Вы совершенно не смущайтесь незначительностью события! В газетном деле мелочей не бывает! Всё важно! До очеркистики, до аналитики нескорый путь! Так что поздравляю!

И, не пожав нам рук, обошёл нас с краю и двинулся к дверям кафедры. Вот тут нас что-то и обуяло. Запоздалый, может быть, испуг.

— Ты смотри! — сказал недоумённо Джурка Скок. — Какая-то замесулька, а все увидели!

— Нельзя больше халтурить! — изрёк задумчиво Минибай.

Я не согласился.

— А мы разве халтурили?

— Ну, значит, в редакции надо толкаться, когда печатают.

— Нас же Пудоль зовёт, — сказал Скок. — Значит, надо идти. Ходить надо. Сидеть там надо. Бегать, если пошлют.

В общем, мелкая наша слава, этакая шеклейка, случайно попавшая в сети, рассчитанные на шуку, мелькнув хвостиком, унырнула в небытие, как факт незначительный, и хоть слегка замеченный, но роли не играющий.

К тому же пришло время первой сессии.

О, Боже! Мне мало было её сдать. Мне требовалось сдать без троек, чтобы получить стипендию. Мама ласково писала мне, чтобы я поусерднее занимался, верила, что я уже совсем самостоятельная персона и преодолёю свои испытания, в которых на первом месте стоят экзамены. Это письмо, конечно, я принимал как поддержку. Но ещё и как мамину на меня надежду. И я вибрировал после этих писем. Ведь сессия — это две недели, когда не знаешь, откуда придёт удар. Вроде бокса в тёмной комнате.

Среди опасных территорий я, конечно же, считал ОМЛ — основы марксизма-ленинизма. Полем, усеянным минами, каждая из которых способна оторвать мне голову, полагал французский язык. Непрерывно покалывала в животе мысль о литературоведении. Зато я плавал, как рыба в пруду, когда речь заходила о литературе. Сначала девятнадцатого века, позже — двадцатого.

И был у нас ещё русский язык — *великий и могучий*.

Тут, должен признаться, я влип в положение, совершенно для меня неожиданное. Как я уже замечал, был у меня такой юношеский недостаток: я писал без ошибок. И сам этому не верил. При этом совершенно не знал правил русского языка, кроме примера на дееспричастие. Я ведь и пятерик на вступительном сочинении заработал не только на содержании, а значит, на памяти, но ещё и на совершенно безошибочных страницах.

В общем, ещё по осени у меня начался неожиданный роман с родным языком в совершенно подарочной упаковке. Сначала у нас был крутой диктант. В аудитории пришла сухонькая и седая старушка Агния Ивановна Данилова и, оглядев сквозь бликующие очки публику, спросила с явным сарказмом:

— Значит, вы журналисты?

— Будущие, — кто-то осмелился пискнуть. Конечно, из девчонок.

Но Агния Ивановна будто и не услышала писка. Довольно холодно она проговорила:

— Ну, вот мы и посмотрим, какие вы журналисты. Откройте чистые тетради. Пишем диктант.

И мы принялись под её диктовку писать диктант невероятной, похоже, трудности. И я слегка страшился, но, похоже, так и не понял, в чём состоял подвох милой старушки. Диктант написали, сдали тетрадки, девчонки-медалистки повернулись возле строгой доцентки, пытаясь заговорить, но Данилова на них не глядела, женской солидарности не проявляла, сунула пачку тетрадей под мышку и удалилась.

Где-то через неделю занятия повторились, и Агния Ивановна вошла к нам разъярённая. Это было заметно без всяких пояснений. Каблочки её стучали громко, требовательно и беспощадно. Она свалила на стол пачку тетрадей — полсотни штук — и обвела взглядом зал. Повисла тревожная тишина. Яростным голосом спросила:

— Кто такой Николай Кузнецов?

Вот уж сердце-то когда обрывается! Со страшной скоростью прокрутил я в себе все свои прегрешения начального студенчества и ничего, кроме стирки в бане, не вспомнил. Но при чём тут это?

Пришлось встать и признаться повинным, неуверенным голосом:

— Я.

— Вы можете быть свободны! — вылила на меня ушат ледяной воды замечательная старушка. И тут же, забыв про меня, почти крикнула: — Позор! Журналисты! Только один из вас написал диктант без ошибок! Как же вы будете работать? О чём — и как! — писать?

Я всё ещё стоял, ничего толком не понимая. И тут Агния Ивановна стрельнула в меня солнечными бликами своих очков:

— Идите, идите, вы свободны! Остальные будут писать диктант снова!

Реакция зала была нервной. Девчонки бросились доставать новые тетрадки. Кореша мои громогласно поражались знакомству с абсолютно грамотным коллегой. А мне не оставалось ничего, кроме как отшучиваться:

— Учитесь грамоте, молодые друзья! Помните, что сказал Тургенев? “О великий и могучий русский язык”!

Всё это я отвечивал, разумеется, вполголоса, в ответ мне слышалось сдержанное хихиканье, сильно замешанное на тяжёлых вздохах.

Не так уж мне часто доводилось шляться по университетским широочным коридорам посреди учебного дня без всякой цели, да ещё два часа подряд. Я помечтал на подоконнике о весне, вглядываясь в снегопад, безуспешно полистал кого-то из классиков марксизма-ленинизма, попробовал разобраться, почему это именно я вдруг стал самым грамотным на всём курсе. И сделал открытие, в котором нет никакой тайны.

Ну да, просто я любил читать, вот и всё! А читая, и порой не сразу вникая в смысл фразы, я возвращался и перечитывал одну и ту же строчку и раз, и другой. И всегда удивлялся, как знаки препинания помогают понять смысл, как они подчёркивают значение написанного. Бывало, я перечитывал фразу, стараясь делать это с выражением, и походило, что я обучался чувствовать не только смысл и суть, но ещё и ритм, а он всегда обозначается знаками препинания!

“Читать надо больше, вот что! — как-то не по-студенчески думал я о самом себе. — И не торопиться, когда читаешь! И запоминать при этом, забыв про всякие правила, как пишутся слова и где возникают запятые”.

Правда, всякие мои попытки раскрыть эту тайну друзьям заканчивались энергичным согласием, сотрясением кивающих голов — и только. Так что, может быть, я и не прав, и писать надо исключительно по вызубренным правилам?

## 18

Скоро я и сам в том убедился. По литературе XIX века я схлопотал пятерку, по французскому уговорил поставить зачёт, но вот здорово подорвался на старославянском.

*Ведь наше отделение журналистики было лишь частью историко-филологического факультета. И так выходило, что мы должны быть сперва филологами, затем историками, а уж потом — что получится.*

*Мысль, особенно по новейшим временам, совсем не бессодержательная хотя бы потому, что нынешние журфаки и их выкормыши, кроме, мягко говоря, нахальства, если не сказать наглости как странного профессионального умения, мало чему обучены, лишь выборочно начитаны, дурно информированы, а насчёт русского языка и грамотного его применения так вообще не подкованы. Спроси-ка, они ведь и не скажут, чем слаба или сильна неподкованная лошадь.*

*Но в нашу пору нас ковали на все четыре копыта. Только перед нами у журналистов отменили латынь — старинную основу филологии. Зато прибавили основы промышленной экономики. И мы, тогдашние щенята, жарко приветствовали такие изменения. Так что экзамен по старославянскому языку принимался как отмирающая, но необходимость.*

*И я подорвался на этой mine. Все сидели по разным углам больших аудиторий, то кучкуясь, то разбредаясь, и была в этом подходе к трудному экзамену старая, проверенная временем мудрость: “Каждый умирает в одиночку”.*

Из нашей троицы я пошёл на пытку последним. Джурка и Минибай как-то провернулись, хотя готовились мы вместе. Они получили по четвертаку, а мне пытошных дел мастер вывел трояк.

Всё! Это был полный облом. Мне требовалась четвёрка, иначе ещё один семестр жить без стипендии! С трояком, весь какой-то посиневший — то ли от холода, то ли от ужаса — вышел и матрос тихоокеанского флота Яков Сенгур. То же самое произошло со славным защитником Родины Игорем Коробкиным! Ничего себе!

Рядом вился Боба Виннер, наш с Джуркой сосед по жилью, известный филолог и ярко выраженный жлоб. Как ворон, он летал возле дверей, за которыми шла экзекуция современной молодёжи, требовавшая от неё не только верного прочтения старославянских сочинений, но и правил, утверждавших тогдашнюю грамотность.

Нет, это было невыносимо! Выносимо и близко, конечно, Бобе Виннеру, который, как оказалось, запросто овладевал не только немецким, английским, французским, но ещё и старославянским — на кой чёрт он ему сдался? Да ещё и предлагал мне свои услуги:

— Это хороший дядька! Он меня любит! Давай я с ним поговорю! — Речь шла о преподавателе старославянского языка

А этот яростный дока старого славянства имел сразу несколько особенностей, много, как оказалось, значивших в наших судьбах. В свои шестьдесят лет он только что защитил кандидатскую диссертацию по особенностям своего предмета, первый раз женился и родил первого ребёнка. На войне, по здоровью, не был.

Ясное дело, что наши рассуждения на такие темы могли происходить только за закрытыми дверями или в общежитских комнатах, и мнение учеников до учителя не доходило. Но он, похоже, интуитивно предполагал неровное к себе социально-политическое отношение юных масс. И тайно, видать, бередя самого себя, вымещал на новых людях свои собственные неустройства.

Я горевал! Был в самом настоящем отчаянии! Яшка и Коробкин померкли так, будто враг взял их в плен, пытал и выбросил на мороз! Этим без стипендий совсем невмочь: у них-то не было мамы с папой, которые пришлют худо.

Конечно, это не я очутился на первом месте в числе пострадавших, но соратники по учению искренне встревожились нашей общей участью. Когда вышел последний из сдававших, Минибай как комсорг, Джурка и Боба Виннер, вызывавшийся быть проводником, зашли к Старославянцу. Разговор был некороткий и конфликтный, это слышалось даже через дверь, наконец, мои разъярённые дружбаны и благостный, в отличие от них, Боба появились на пороге:

— Идите! — воскликнул он. — Все трое! Сразу! Второй заход!

Тогда на кафедре русского языка не было молодых, все очень пожилые. Агния Ивановна Данилова считалась ветераном русскоязычного фундамента факультета, и её резкая речь частенько пробивалась из-за неплотно прикрытой кафедральной двери. Старославянец не был громок и не был, похоже, сильно почитаем коллегами, но всё равно что-то значил, что-то, возможно, сохранял. Глядишь, и тайно предвидел грядущий расцвет старославянского языка в русской жизни.

Однако до этого было ещё далеко, из того, послевоенного времени, совершенно не видно, в то время как наша беда стояла буквально перед глазами.

Коренастый, нехуденький, сильно обтрёпанный, совершенно лысый, явно неудачливый наш Старославянец, не глядя нам в глаза, предложил сесть всем троим за стоявший перед ним стол. Мы поспешно уселись.

По-прежнему не глядя на нас, он спросил зачётку у матроса тихоокеанского флота, раскрыл на странице, где стояла тройка и, ни слова не говоря, поправил её на четверку. Это было видно даже издалека. Сказал ему довольно нейтральным, почти доброжелательным голосом:

— До свидания!

Потом взял зачётку у лысеющего Коробкина. И вся церемония повторилась. Но когда дверь за Игорем притворилась, этот человек, почти просительным взглядом посмотрел на меня и сказал:

— Ну, с ними-то всё понятно! Люди воевали! Но — вы!

До меня что-то слабо доходила эта попытка усовестить мою персону. Я даже не мыслил о такой постановке вопроса. А он продолжал:

— Вы же молодой человек! Только кончили школу! Вам жить и жить! А вы не можете понять язык, которым говорили наши предки!

Я понял, что дело моё фиговое, что сегодня вечером, не откладывая на завтра, я сяду за письмо, в котором сообщу маме, что не мог освоить старославянский язык хотя бы на четверку, и вот снова не заслужил простецкой студенческой стипендии в 220 рэ, а посему приношу всяческие извинения и полагаю, что мне уж лучше и покинуть сей строгий государственный университет.

Похоже, в думах своих я повесил кручинную голову свою, но тут услышал последнее обвинение, меня, похоже, убивающее наповал, а Старославянец, стало быть, оправдывающее окончательно и самым убедительным, обращённым в моё трагическое будущее образом.

— Вот вы! — Уже почти расслабился он окончательно, по ходу своих аргументов утверждаясь в незыблемости моей тройки. — Будущий журналист! — Я глядел на него, не моргая. Я был кроликом перед беспощадным удавом. — И как же вы будете писать! А ведь вы должны хорошо писать! Грамотно писать!

Он передохнул, набирая полную грудь воздуха, чтобы окончательно пригвоздить меня. И произнёс опасный приговор:

— А грамотно писать современным языком нельзя, не владея языком старославянским!

— Можно! — квакнул я.

И в этот миг почувствовал, что победа за нами. И не такой уж он удав. А я не такой кролик.

Знаете, находит на нас, грешных, хоть и не часто, а даже весьма редко, такое ощущение победы, предчувствие удачного конца, подспудная вера в благополучный исход даже в самые трудные мгновения.

— Можно! — повторил я, а он удивился:

— То есть?

— А я пишу на современном языке без малейших ошибок! — без тени скромности заявил я.

Он даже хохотнул.

— Даю руку на отсечение, такого не может быть!

— Может!

— А кто подтвердит?

И я проговорил, совершенно наглей:

— Агния Ивановна Данилова!

— Что ж! — ответил он, будучи абсолютно уверен в моей лживости. — Я спрошу у неё. И если она подтвердит ваши знания в русском языке, я готов, знаете ли, поставить вам даже пятёрку! Если угодно!

Одной рукой он защёлкнул замок в своём затасканном портфелишке, в другой он держал мою зачётку. И вот такой странной конфигурацией, которую кавальдаш, конечно, не назовёшь, мы вышли из аудитории.

Толпа, скопившаяся у двери, испуганно расступилась, краешком глаза я разглядел сострадающие лица Яшки, Игорька, Минибая и Скока. Только Виннер отчего-то лыбился и шёл в отдалении за нами: впереди — Старославянец с моей зачёткой в одной руке и портфельчиком в другой, за ним — я, идущий уверенно и спокойно. Ни черта, со стороны, конечно, не поймёшь!

Мы подошли к кафедре. Я молил небо о том, чтобы Агния Ивановна была там, а не ушла, например, в буфет или туалет, или вообще бы не отсутствовала в этот день. Небеса услышали меня. Но этому предшествовала пауза. Обычно громкие голоса за дверью кафедры сегодня были тихими, а для коридора и вовсе неслышными.

Время для меня замерзло, все часы в университете просто остановились. Тем не менее, к кафедре подтянулись близкие мне болельщики. Мы молчаливо топтались, болтовня не получалась.

Наконец, приотворилась дверь, и Старославянец, даже не глядя в коридор, протянул в щель руку с моей зачёткой, абсолютно уверенный, что кролик тут же схватит искомую морковку. И тут же лизнёт руку хозяина.

Я схватил зачётку и распахнул её. А распахнув, не поверил. А поверив, не поверил снова. И, наконец, поверив, просто рухнул на спину.

Я катался с боку на бок и беззвучно хохотал. А вокруг меня стояли мои дружки, ничегошеньки не понимающие. Наконец, весь вывалявшись, в куртке и брюках, разом ставших серыми от пыли, я встал на четвереньки и уже захохотал в голос, почти сходя с ума.

Я протянул зачётку друзьям, и они стали тоже — если не падать, то качаться и приседать, и такой возле кафедры русского языка образовался

хохот и шквал, что дверь открылась, в проёме явилась Агния Ивановна с совершенно отрешённым лицом и проговорила:

— Скромнее, молодые люди! Скромнее!

За бликующими стеклами очков не было видно глаз. Но я подозреваю, что они не глядели так строго, как звучал её призыв. А ржали мы потому, что в моей зачётке была зачёркнута тройка (поср.) и вписана четвёрка (хор.). Но потом была зачёркнута четвёрка (хор.) и поставлена пятёрка (отл.).

Вот таким справедливым — и честным! — образом современный русский язык защитил меня от старославянского.

Откуда-то из тьмы подсознания электрическим накалом выплыл афоризм классика: “Человечество смеяся расстается со своим прошлым”.

Ах, как я ошибался!

Вместе со всем человечеством!

## 19

На зимние каникулы я уехал домой. И хотя стояли жёсткие холода, та морозная зима казалась мне эпохой ликования. Без конца вспоминал: “А теперь у меня есть стипендия. Я не хуже других!”

Чуть не сразу оказался на школьных вечерах — сперва в родной мужской, потом в соседних женских. И видел, какими внимательными глазами смотрят на меня наша бывшая классная и старый математик Иван Алексеевич, который даже обнял меня.

Весь остальной наш класс разбежался по техническим институтам, в основном ленинградским, хотя и трудным, но, видно, ясным по своему существованию нашим учителям. Витка Кошкин учился в военмехе, а это означало, что будет конструировать нечто секретное и, конечно, значительное; Серёга Суворов — в железнодорожном, а я умотал на восток, да ещё и в гуманитарные какие-то облака, с будущим доступом к печатному слову. Что это значило для них? И что — для меня? Даже взрослым в этом ещё только предстояло разобраться.

Они и пробовали это сделать, да я, похоже, ещё не годился для таких разборок, разгатию своих мыслей и намерений. Ведь не расскажешь же им про мои приключения со Старославянцем?

*Студенты, конечно, ценились на школьных вечерах, особенно в женских школах. И как взирали на нас десятиклассницы — совсем новые лица! Однако межвозрастные противоречия неразумных царствовали в нас, и мы воротили от них носы, называя про себя “шмакодявками”, дескать, вы из других поколений. И нам не до вас! Подрастите сперва!*

*Пройдёт совсем немного времени, и что-то щёлкнет внутри почти каждого из мальчишек той поры, и мы переменим свои взгляды на ровесниц — они досрочно станут “старухами”, а мы обратим взоры именно к тем, кто ещё только что плавился стайками “шмакодявок”. Впрочем, это было выражение всё-таки мужское, вернее, мальчишечье и, так сказать, клубное, без цитат и ссылок при объяснениях с новыми лицами.*

*Но пока что мы танцевали со своими ровесницами, знакомыми по старшим классам. Теперь это были будущие педагогички, медички, политехнички, и забавно выяснялись скрытые пристрастия знакомых партнёры по танго и фокстротам. Только сильно принуждая себя, можно было вообразить, что красотка Ритка из сорок второй школы, поступившая в медицинский институт, станет врачом, да ещё прикажет однажды и вдруг в непредвиденной ситуации:*

— *Раздевайтесь до пояса!*

*Нет уж!*

Вообще первые студенческие каникулы превратились в какой-то водоворот. От вечеров в школах, где на нашего брата, вчерашнего щенка, глядели как на почтенного подпёска — почти личность! — до студенческих вечеров в драмтеатре, где никто ни на кого не глядел, а в буфете продавали пиво местного производства, которым некоторые вольнолюбивые наливались почти

до горлышка. Разумеется, при помощи общенародного средства укрепления градусуса.

Я на это не вёлся, мне было любопытно оглядеть окружающий мир, да и в голове моей — забавно вспомнить! — роились не какие-то убогие мечты закадрить вон ту или эту из девичьих хороводов, а желание поскорее добраться до края вечера и вприпрыжку по трескучему морозу припустить домой, обнять маму, угнездиться под стёганым одеялом и взяться за “Угрюм-реку”. Вот где было истинное открытие мира!

Был у меня к тому же один старинный друг, к которому следовало поспешать, — кот Тимофей. Этот хозяин целого оврага, на краю которого стоял наш домик, был существом бывалым, многожды раненным в любовных сражениях и не только веснами, но и суровыми зимними ночами, и давно выглядел истинным ветераном. Оба уха у него были обгрызены в схватках прошлых лет, однако это его не угнетало, и он до поздней ночи охаживал свои владения, предаваясь то любовным страстям, то яростным боям. Даже в лютые морозы он возвращался домой не раньше полуночи, а давал знать о прибытии в расположение совершенно забавным и обдуманым образом.

С края сугроба, наметённого перед окном моей мальчишечьей комнатунки, он прыгал к форточке и, зацепясь когтями за её край, подавал голос.

Сначала это был просто возглас усталого существа — мол, откройте, это я, и никто другой! Если в воспитательных целях, заключающих предложение обойти дом и покричать у дверей, я форточку не открывал, Тимоха повышал голос. А потом начинал браниться!

Интонации его становились настоящими, громкими, требовательными, наконец, яростными. Можно сказать, что он просто ругался на своём котфейском языке, если даже не матюгался.

Я босыми ногами шлёпал к окну, открывал форточку, он радостно прыгал на мой стол перед окошком, потом на пол, а далее прямо ко мне в кровать, в самые мои ноги — и вот тут начиналось!

Во-первых, он мурлыкал, не уступая по громкости возбуждённому человеческому голосу.

Он ложился не сразу, отнюдь!

Он топтался!

Когтями Тимофей драл моё стеганое одеяло, выражая свои чувства в полный голос.

Назвать хрипом эту песню не поворачивается язык. Нет, он пел! Во весь голос пел свою котовью арию, как мог бы громopodobный артист излагать горячие чувства перед балконом возлюбленной. Но тут не было никаких возлюбленных! Был я, его закадычный друг, вчерашний мальчишка, в ногах которого он провёл бесчисленные множество ночей! Наверное, он испытывал невероятное счастье вновь обрести натопанное и налёженное место сказочных снов и сновидений, в которых ведь не одни мыши бегают, но и прохаживаются прекрасные кошачьи девы, любить которых Тимке мешают дрянные бродяги иных кварталов!

Взбив одеяло, острыми когтями помучив его, Тимка, наконец, удобно укладывался, принимал удобную позу калача. Голос его крепчал. Становился всё громче. Будто бы он что-то рассказывал мне, но вот в такой, совершенно музыкальной котовьей форме. Это был истинный голос певца, и он пел радость! Пел ликование! Ни с чем не сравнимое удовольствие!

А я лежал на боку, читал книжку, изредка поглядывал на Тимоху, закрывшего глаза, но не снижавшего тона своего исполнения. Было ясно, что ему и я-то в качестве слушателя более не нужен. Он пел себе. Сам себе.

И, может быть, это было высшее наслаждение жизнью? Искреннее, беспечальное, бескрайнее.

Под песни Тимофея я тоже как-то легче жил. Трудности дня отступали. Все неприятности прятались по кустам, как Тимкины мыши при его появлении. Жизнь, а особенно жизнь будущая, манила счастливым ожиданием и надеждой.



КАК ВЫЛУПЛЯЮТСЯ ПТЕНЦЫ

1

Напрыгавшись на бесцельных вечеринках — никто из девчонок, что старого, что нового племени не задевал мое взыскательное сердце, — отославшись с Тимофеем, затихавшим только к утру, но крепко согревавшим мои ноги, начитавшись досыта “Угрюм-реки”, я всё же вступил в испытание.

Меня, конечно, знали в молодёжной газете, но шёл я туда на сей раз, безумно волнуясь, и, как совсем сопливый школяр, выдумывал первую фразу, которую скажу после того, как поздороваюсь.

Все мои репетиции полетели прахом, потому что едва я разделся в гардеробе, как из буфета вышел перекусивший, а потому, видать, довольный белобрысый толстоватый человек, который сразу воскликнул:

— О! Никак студент прибыл на побывку!

Этот человек был для меня личностью более чем недоступной — редактор той самой молодёжки, где я напечатал свои первые фотографии и заметки. Всего-то полгода назад он подписал мне рекомендацию в университет и, хочешь — не хочешь, теперь надлежало отчитаться.

А потому все четыре этажа, пока он одышливо поднимался к себе, я, искусственно сдерживая шаг, напрягался, отчитываясь. Да, мол, поступил, и первые мои заметульки в его газете сыграли поистине историческую роль, потому как я, оказалось, единственный из молодняка, а не старослужащих, то есть людей постарше возрастом, хоть где-то и хоть когда-то печатавшийся. Рассказал, как предъявил альбомчик с вырезками и сопроводительную бумагу. Всё-всё-всё сыграло свою роль!

Мы взобрались на верхотуру, Леонид Демидович завёл к себе в кабинет, усадил в огромное кожаное кресло, уселся напротив.

— Ну, ты смотри! — сказал он вдруг, слегка, конечно, улыбаясь. — Никуда в сторону не коси! Ты нам здесь нужен!

Я даже головой тряхнул, не понимая. Так и ответил:

— Не понял...

— Чего не понял? Вот кончишь университет, возвращайся сюда, нам люди нужны грамотные! С высшим образованием!

Кажется, я поперхнулся.

— Да я только поступил! Один семестр отучился! А впереди ещё девять!

— Э! — махнул рукой Леонид Демидович, — моргнуть не успеешь, как всё это кончится и придётся выбирать — куда. Так вот тебе не надо выбирать! Сюда!

Меня, пока этот добряк нарезал свои фразы, поощряя моё незримое будущее, и в жар, и в холод бросало. Ведь уверенностью я ещё ни в чём не обладал. Ровным счётом! Получится ли из меня газетчик? Да я даже думать себе запрещал о таких далёких даях.

Ну конечно, хотелось бы сесть да и написать что-нибудь этакое! Чтобы все прочитали и... Вот тут-то меня и подсекало: что — и? Заплакали? Засмеялись? Возмутились тем, про что я там когда-нибудь напишу? Я и сам не знал. Эх, в каком это было тумане! Густушем! Но я сказал, прерывая ненужные надежды:

— Я вот зашёл попробовать. Может, какое задание получить?

Эти слова будто елеем душу Демидычу смазали.

— А пойдика ты на шинный завод! — сказал он, будто давно приберегал для меня такой замысел. — Там пустили новый цех — резину делают, а из неё шины. И что ни работник, то рационализатор! Изобретатель! Вылови такого! Напиши очерк! Дадим целую полосу!

Мы встали, я подтянул поясок, исполняясь решимости, в приёмной мне мигом отпечатали удостоверение внештатного корреспондента, которое редактор прищёпнул печатью, первоначально расписавшись. Сказал, чтобы я прямо сейчас и добирался до шинного, а он позвонит в комсомольский комитет.

Так я оказался в громадном сооружении, чернушем изнутри от сажи, которая выделялась при производстве шин для автомобилей. Тут нелишне пояснить, что вообще-то машинного транспорта в нашем городе было маловато после войны. На главных улицах вообще лениво двигались подводы, запряжённые лошадьми, а то и целые коровы стада, которых самоходом гнали к мясокомбинату. Дороги эти порядочно были унавожены, но никто на такие непорядки внимания не обращал — жизнь шла по её установленным распорядкам. А на главных улицах нечасто двигались троллейбусы, автобусы и грузовики, большей частью, как солдаты, вернувшиеся с войны. Ремонтировали их сами шофера, умельцы на все руки, да авторемонтные заводчики и мастерские, и хотя одно это должно бы было вогнать нацию в уныние, никто ему, этому унынию, не поддавался. И я тоже.

Меня от заводской проходной сначала отправили в комсомольский комитет, и истощённый, похожий на туберкулезника паренёк, оказавшийся тутошним запевалой, принялся с жаром и пылом рассказывать мне о достижениях завода в целом и молодых работниках в частности. Я попробовал записывать некоторые его цифры, но в душе не понимал, что буду с ними делать, и, выдержав вежливый период, которого, по-моему, должно было хватить на описание обстановки, вежливо же спросил:

— А вы можете меня познакомить с кем-нибудь из ваших изобретателей?

— Изобретателей? — с испугом переспросил он.

— Ну, рационализаторов?

Он как-то сжался. Попробовал меня вразумить:

— Да здесь всё построено на технологии. Понимаете? Когда готовится резина, работают лаборатории, испытательные стенды. Никакой отсебятины! А когда отливаются колёса — там фактически конвейер. Только успевай поворачиваться!

В общем-то, он как бы отвергал задание Леонида Демидовича, и я пошёл на обострение, опасное, впрочем, для себя:

— А может, сходим туда, где шины делают?

Мы пошли. Этот паренёк держал меня за кого-то другого, повыше и по значительней. Не зря по дороге спросил:

— Вы из Москвы?

— Нет, — ответил я. — Из Уральской столицы.

Выходило, в прямо противоположном направлении от возможно исходящей опасности. Он облегчённо вздохнул. Но с какой стати кому-то опасаться кого-то? Тем более — меня.

И вот мы в этом цехе. Черно и жарко. Пышут какие-то печи. Здоровые парни с копчёными лицами орудуют какими-то кранами, те поднимают и опускают громадные формы, куда впихивается мягкая на вид резина, какие-то ткани. Потом эта форма, похожая на ракушку, захлопывается, её опускают в печь. Температура там, похоже, вышенная, вот тут-то и вырывается залп огня с копотью. Потом ракушка выезжает обратно, ставится на ребро, раскрывается, и из неё достают готовую шину.

— Для “студебеккеров”, — объяснил мне паренёк. А увидев мой непросвещённый взгляд, уточнил: — Для “катыш”.

“Для “катыш”, — поразился я. — Война же кончилась?” Но худощавый вдруг радостно воскликнул:

— Видите! Все парни! А вон девчонка! В красном платке. Единственная среди мужиков. Её зовут Жёня! У неё план всегда 150! Печёт свои блины ловчей всех!

Вот этим-то он и склонил меня к мелким неприятностям и сомнительным сравнениям.

Смена заканчивалась через час, и мне пришлось торчать в шинном цехе, пытаясь уловить в грохоте, копоты и жаре свой порядок. Он, конечно, был. Но не для пришлого человека с гуманитарными мечтами.

Опекавший меня парень был крайне нетерпелив, он то выбегал позвонить, то возвращался и урывками рассказывал некоторые подробности про Жёню. Оказалось, что она из детского дома и никого у неё нет из родных, погибли на войне, а ей дали заводское общежитие. Ещё он предупредил,

что Женя не любит вспоминать детскую дом, сейчас учится в школе рабочей молодёжи и будет поступать в химико-технологический институт имени Менделеева в Москве. Оказалось, что своей этой рабочей специальностью она училась у старейшего мастера, и он ей изо всех сил почему-то помогал вместо того, чтобы отговорить. Потому как общепризнано, что выпекать такие колёса, да потом ещё и с силой выколачивать их из формы таким коротким ломиком — совершенно не женское дело. Но у нас все равны, улыбался секретарь, явно одобряя Женин путь к равноправию. Правда, тот её наставник, пояснил, слегка понурясь, секретарь, недавно умер.

Словом, пока я, обливаясь потом, издали разглядывал довольно хрупкую стахановку, как бы даже танцующую с электропультот в руках, крепящую цепи, распахивающую глотку горячей печи, пока я разглядывал её красный платочек на голове, сравнивал с неторопливыми, как казалось, липкими от пота мужиками по соседству, стала возникать во мне этакая сценарная канва.

Погибают на войне родители-герои, упавшую наземь малышку подхватывают солдаты, она в эшелоне, какие-то добрые женщины кормят её из дюралевой кружки, дальше — детский дом, строгий взгляд взрослеющей девушки, ремеслуха на заводе и этот горячий выбор, осиянный алой косынкой на голове, — парус мечты из волшебной книги, которая становится реальностью...

## 2

К концу смены, просто посидев на каком-то приступке или отаптывая более или менее чистый край черного и жаркого цеха, я, будучи тренированным пацаном, уже не знал, когда это кончится.

Пересменок произошёл незаметно, почти невзначай, просто к потным и грязным мужикам у ракушек подошли другие мужики, почище, и дело ни на минуту не остановилось. Только вот Женин красный платочек я потерял из виду. Не знаю, что стал бы и делать, если бы не болезненный комсорг. Он вышел из полутьмы, махнул мне рукой, мы вышли во двор и уселись на заснеженную лавочку.

— Сейчас она примет душ и придёт к нам, — пояснил он.

И вот к нам приблизилась Женя. Секретарь, неожиданно сменив тон, прибавив в голос железа, сказал, что он рекомендует её для разговора со мной, корреспондентом с Урала, потому что именно там обувают нашу резину на “студебеккеры” с “катушкой”. Откуда он всё это выдумал? Но я не стал тратить время на спор, пригласил Женю на морозную скамеечку, а руководитель временно скрылся.

Впрочем, он скрылся не временно, а навсегда, но это было мне ещё не известно, и я спросил Женю первое, что в голову пришло:

— И как вы всё это выдерживаете?

Она пожала плечами:

— Раз надо!

— А правда, будто вы сами эту вот специальность выбрали? Ведь тяжело! Девушке-то?

— Куда сунули, туда и пошла! — понурила голову. — Заступиться некому!

— Не похоже, — заметил я, — что за вас надо заступаться.

— Да, пожалуй, правда, — невесело усмехнулась она.

— Так вы сюда сами напросились или как?

— Ну, можно и так сказать, если кому-то надо.

— А вам?

— Ну, может и мне надо, не знаю.

Мы помолчали. Я попробовал, согласно художественным канонам, взглянуть в лицо своей грядущей героини, но что-то нескладно получалось. Было оно гладким, равнодушным, ничего не выражающим.

Я предложил двинуться к проходной, надеясь по дороге выяснить остальное. Спросил насчёт Менделеевского института, и был уязвлён в самую душу. Девушка переспросила:

— А что за Мегденлеевский?

Набравшись духу, я повторил, объяснил. Она пожала плечами:

— Не слыхивала. Да ещё в девятом учусь, в шереме-то. Когда ещё кончу! И надо ли — устаю на работе, иногда на уроках засыпаю, и надо мной смеются!

Ну, и влип я! Образ, который я придумал, не без помощи, конечно, комсорга, совсем не совпадал с реальностью.

— Ну, хорошо, — спросил я, теряя всякие надежды, — а красную козынку ты почему носишь? По каким соображениям?

— Да без соображений, — ответила Жёня, — всучил мне зачем-то наш комсорг, даже пару, велит: носи. — Она наивно улыбнулась. — Мне бы белая-то басче пошла, да ведь пачкаться станет. Стирай каждый день.

Это слово — басче, значит красивее — мне было известно. Но означало оно ещё, что Жёня-то — довольно-таки деревенская гражданка, и как она пойдёт в Менделеевку, по пути, предначертанному кем-то, и когда, и не надорвётся ли, как её учитель, на этот тяжёлой работе? Всё это расстраивало вконец мои помыслы о создании образа мечтательной и самоотверженной трудяги.

Мы прошли сколько-то шагов молча. И тут я брякнул:

— Давай-ка, Жёня, я напишу про тебя так, какой ты мне видишься. А ты не удивляйся, если что не совпадёт.

Пока что она кивала, не глядя на меня. А я заливался.

— Я буду писать про тебя очень хорошо. Может, этого на самом деле и нет.

— Вроде сказки! — улыбнулась она.

— Нет! — входил я в необычную для себя роль. — В виде мечты! Ты читала “Алые паруса” Грина?

Она мотнула головой. Ну, конечно, его не все читали. Пришлось выворачиваться:

— Это про мечту! Представляешь, бедная девушка. По имени Ассоль! Мечтает полюбить молодого капитана Грея! И хочет, чтобы он увёз её на корабле! С алыми парусами! Ей такой сон приснился! И вдруг на самом деле приходит корабль с этими алыми парусами! И на нём молодой капитан. Мечта сбылась!

— Как, говоришь, её звали? — с интересом повернулась ко мне Жёня.

— Ассоль.

— Не наше имя, — вздохнула она. — Заграничное.

И вдруг остановилась:

— А ведь у меня хорошее имя, правда? Жёня! Евгения! Жёнюрочка! — И сразу нахмурилась: — Да пиши, чего хочешь! — Ещё через несколько шагов спросила: — А меня не посодют?

— Э-э, — ответил я, — если и посодют, то меня.

### 3

Как же тяжело давалась мне эта выдумка! Для начала, вернувшись домой, я спохватился, что забыл спросить фамилию Жёни. Сейчас-то я догадываюсь, что таким странным образом мне подсобляла судьба: обойдись я без фамилии, и получился бы рассказишко, пусть худенький и лживый, но — ничего, мало ли вокруг печатается такого.

Я, впрочем, и начал писать без фамилии, вставил первую, на ум пришедшую — Иванова, и принялся фантазировать. Проще всего удалось предисловие — про Ассоль и алые паруса, потом у меня вместо Ассоль появляется Жёня Иванова, которая тоже стоит на берегу, но не моря, а нашей реки, которую, конечно же из жёлтой и мутноватой пришлось перекрасить в цвет голубой, как красивую мечту. Однако мечты теперь, как бы намекает автор, осуществляются не на берегах пусть и голубых рек, а в цехах, внешне, может, и не очень-то светлых от сажи, но очень горячих, даже жарких, где девушка принимает решение трудиться наравне с мужиками-гвардейцами: она печёт как былинная мастерица не хлеба, а чёрные сияющие круги — шины на автомобильные колеса. В них обуют многосильные грузовики.

Главную трудовую картину я описал довольно правдиво — как с электропультотом в руке Женя Иванова легко передвигается возле печи, как вынимает оттуда ракушки, — здоровенные плоские и закрытые сковороды, в которых млеет превосходное блюдо отечественного автостроения.

По ходу сочинения всё укладывалось в этикие полухудожественные вставочки — и война, и погибшие родители, и детский дом с его тоской и одиночеством, и завод, который принял её, естественно, как родную, и ШРМ, где она засыпает от усталости на уроках, а во сне ей снится московский химико-технологический институт имени Менделеева.

Сочинив всё это в общей тетрадке из 48 листов, я отправился не в редакцию, а к старому другу Кимке, у которого по причине значительности его родителей был домашний телефон. Не без труда отыскал по нему того самого художавого комсорга, напомнил о себе и попросил из-за моего немедленного отъезда заслушать сочинение по проводам.

Я принялся вдохновенно читать ему свой опус, но он не из тех был собеседников, кто готов погрузиться в чужие слова с полным вниманием. Пока я читал, он раз двадцать извинившись, кому-то и что-то отвечал по другому телефону, видать, внутреннему, заводскому, затем, опять извинившись, давал какие-то указания своим, что ли, работникам или активистам, таким образом, мой порыв был заведомо смят и уничтожен.

Сдерживая себя изо всех сил, потев и ненавидя своё сочинение, я с трудом дочитал его небрежному слушателю. В конце он как-то притих и вдруг меня просто-таки ударил:

— Да вы гений! Это просто замечательно! Поздравляю! Спасибо!

— Скажите, а как настоящая Женина фамилия? — перебил его я.

— Иванова! — воскликнул он. И я, ну, точно провалился сквозь Кимкин диван.

Вот это был номер! Я угадал фамилию своей героини! Но что-то же это мне подсказало! Какое-то неведомое мне наитие или как? По голубой обложке общей тетради я написал название: “Алые паруса”. И рядом — имя, только не Грина, а своё. Причём без кавычек. Я, видать, был так незрел, что оценить даже собственную наглость оказался не в состоянии. И оттаранил тетрадку в редакцию.

Демидыча не было, пришлось оставить сочинение Святославу Владимировичу, ответственному секретарю. Был он редковолосым, но румяным, с приветливыми голубыми глазками, одобряющими всё, что попадало в его обозрение, но всегда в валенках с калошами — видать, мерзли ноги.

Он попробовал было тут же читать моё сочинение, но я сразу понял, что мне тогда не уехать. И поступил стыдно и непрофессионально, просто по-любительски. Сказал, что вечером поезд, а у меня ещё дела, и пусть уж они, пожалуйста, разберутся с моим опусом сами, принимая это во внимание, и если сочинение не понравится, то и отправят его в корзину.

С тем и выскочил на улицу.

Нехорошо. Так не поступают настоящие газетчики.

#### 4

Потом Зиновий Абрамович Яновский научит нас неписанным правилам журналистики: как собирать материал, как его перепроверять, что такое газетная стилистика, правка, как важно быть рядом, если твой текст правит чужая рука, и совершенно необходимо читать гранки, подписывая их всякий раз, а потом и газетную полосу, на которой идёт твоя публикация. Впрочем, один учитель, даже самый внимательный, не может предупредить тысячи ждущих тебя подвохов, а потому газетная школа продолжается почти всю жизнь, и вовсе не редкость, когда самый что ни на есть седой профессионал вдруг по незримой нелепости осрамится, будто начинающий мальчишка.

Конечно, эти уроки маячили ещё впереди, а тогда, примчавшись к порогу альма матер, я снова бухнулся с головой в волны бытия.

На широкой приступке возле университетского зеркала мы втроём нашли три почтовых перевода по девять рублей каждый. Боже! В итоге лёгкой

пробежки к почте выяснилось, что это поделенный на троих гонорар за заметку про лыжную выставку. Мы с Джуркой и Минибаем учинили банкет в столовке, призвав к нему Яшку, Игорька и Генку. Просто сдвинули два стола и проглотили обыкновенные обеды в честь достигнутого трудом праведным газетного гонорария.

Все обгоняли друг дружку шутками, иронией, а в общем, радостью, что вот, всё-таки, пусть и совсем малое, но мы чего-то же обнародовали!

Было очевидно, что нашим славным грузчикам-угольщикам хотелось бы того же, и матрос тихоокеанского флота заявил, насытившись, что завтра же отправится в окружную военную газету. Игорёк вызвался быть напарником. Они и найдут там себе применение, и мы с немалым удивлением узнаем, что солдаты, сержанты, а то и некоторые офицеры, младшие, конечно, по званию, любят складывать стихи и целыми возами отправляют их в свою военную газету. Там же, как этого требовали правила, каждое письмо, даже в виде стихотворений, требовало ответа, и нашим боевым товарищам предлагалось рецензировать, хотя бы кратко, эти сочинения и за каждый ответ полагалась половина рубля.

Поначалу они возрадовались. Пришли с охапками стихов в аудиторию машинописи и стали тыкать на старых ундервудах послания пиитам. Однако печатать требовалось сразу на редакционных бланках. А машинописью бойцы не владели. Приходилось учиться по ходу боя. Бланки летели в корзину ворохом, пока всё же, не овладев азами ремесла, Яков и Игорек не наловчились выдавать свою нешахтёрскую лаву на-гора.

Яков откуда-то обладал замысловатостью объяснений, Игорь был прям и безжалостен. Мы почитали у них из-за плеча некоторые отрицательные пояснения, и великодушный Минибай, кажется, заметил, что так они скоро лишатся работы, поскольку распугают всех военных поэтов. Литературные консультанты призадумались, поохали, но замечания уразумели. Каждый отрицательный отзыв завершали призывом вроде того, что не унывайте, дорогой поэт, совершенству нет предела, вспомните Пушкина и начинайте всё сначала!

Удивительное дело — начинали! И обращались к нашим писателям уже по фамилиям. Начинали с благодарений.

— Вот видите, — поощрял их Джурка Скок, — вы стали нужны поэзии!

Но нужны ли были эти поэты нашим бойцам? Чтобы напечатать десять ответов десяти жаждущим признания военным, да ещё применяя всего по одному пальцу каждой руки — хотя по десять разборов в день — требовалось адово терпение. А Игорь с Яковым были людьми не той породы. То и дело выходили в курительную возле туалета. И сквозь эту курилку приходилось прорываться чуть ли не ползком. Я, как человек некурящий, пробегал в основной отсек на полусогнутых. Скоро выяснилось, что расходы на табак, потребляемый от печалей умышленного труда, приближаются к затратам на сам этот труд. Духовность постепенно уступала расчёту. Через месяц-полтора наши старослужащие сдали поэзию назад в газету, пообещав появляться с интересными сочинениями собственного изготовления. Если получится.

## 5

Ну, а своей стипендии я едва дождался. Надо же! Сквозь мытарства и испытания, которые я принимал как должное, меня вдруг пригласили расписаться в ведомости и выдали выстраданные 220 рэ. Другие-то мои соученики и соученицы принимали эти рэ как естественное обязательство государства, получали финансовую благодать как нечто бытовое и, скорее, даже принудительное, но вовсе не достигнутое и не возжеленное.

Сунув денежки во внутренний карман и снедаемый жалким тщеславием, а вернее — какой-то детской невоздержанностью, я произнёс фразу, после которой тотчас же прикусил язык:

— Приглашаю в ресторан!

Джурка и Минибай восхитились идеей, и мы стали искать четвёртого — столики-то в ресторане, наверное, на четверых. Никто не соглашался.

Все похихикивали и жались. Ясное дело, матрос Тихоокеанского флота замахал на нас большими красными, как лапы у гуся, ручищами; Игорь Коробкин опять обсуждал с Генкой Шидриным свою возлюбленную кастрюлю, которую уж теперь-то точно надо было покупать в хозтоварах, их посудилку за чайник, изнутри залепленный спасительной вермишелью, их матюгала вся комната в общаге, следовательно, к этим и подступаться с предложением о ресторане смысла не имело.

Не уверенные в благополучном исходе, мы двинулись к ресторану “Савой”. Собственно, в городе их было несколько, ещё один, при большой гостинице назывался по её же имени “Урал”, но такое название было слишком обыкновенным для столь поэтического замысла. По дороге мы обменялись вопросом: а что такое означает слово “Савой”. Ни Джурка, ни Минибай, ни я не знали.

— Откуда-то, наверное, оттуда! — кивнул Скок в восточном направлении. И пропел из Вертинского: “В бананово-лимонном Сингапуре...”

Мы посмеялись. Савой, Сингапур — как там ещё? — были так далеко от этих мест, что и думать-то про них нам не могло. И бананов мы и не едывали.

И тут лоб в лоб мы столкнулись с Толей Пудолем. Он шёл нам навстречу с кучкой небольших книг, и это была поэзия.

— Зашёл в книжный! Завезли новинки! Такая радость!

Конечно, строчки поэтических книг — как луч солнца, но нам, не очень-то отёсанным, это ещё только предстояло понять, а блистательный Пудоль уже давно понял, и мы позвали его в ресторан. Мол, приглашаем! Хотя душа моя втайне содрогнулась: что же останется от моей стипендии?

Будто кто-то услышал мой писк. А может, Пудоль и услышал.

— Ха! — сказал он. — Это я вас приглашаю! Получил последнюю стипендию, ухажу окончительно, жрать хочется, пошли, посидим!

Это было чудесное застолье! Ресторанный дебют в заведении с неизвестным именем “Савой”. Уверенной речью наш старший — и опытный, конечно! — товарищ заказал всем по салату оливье — это словечко мы запомним навеки — по мясной солянке и бифштексу с яйцом и жареной картошкой. Потом махнул рукой и велел подать бутылку водки.

Её принесли в запотевшем графине, и мы, похоже, разом почувствовали, что какая-то с каждым происходит легальная перемена. Всем нам вместе — и каждому поодиночке — выпивать приходилось. Но где? В какой-нибудь занюханной пивнушке! В проходном буфете! У друзей в общаге — там вообще втихаря, чтоб комендантша не прознала. А тут! Ресторан! Сияют люстры, хотя и не горят, потому что дело происходит днём. Можно себе представить, что здесь бывает вечером! Позвякивают хрусталинки, в зале кто-то есть ещё, но как-то по окраинам, две-три пары от силы, а нас усадили в самом центре, возле фонтанчика!

И ещё-то вполне отчётливо мы ощутили перемену своего духа. Мы явились сюда не то чтобы совсем повзрослевшими, но — имеющими право, вот что! Мы имели право тут сидеть, беседовать, ожидая еду, а потом с непривычным наслаждением поедать отличную жратву, заработанную нами.

Но наш нечаянный предводитель не спешил, он ласково перебирал новокупленные книжицы, не уставая улыбаться, и вдруг посерьёзnel:

— Слушайте!

И проговорил торжественно и тихо, а мы бросили свои вилки от таких слов:

*Нет, я не Байрон, я другой,  
Ещё неведомый избранник,  
Как он, гонимый миром странник,  
Но только с русской душой.  
Я раньше начал, кончу ране,  
Мой ум немного совершит;  
В душе моей, как в океане,  
Надежд разбитый груз лежит.*

*Кто может, океан угрюмый,  
Твои изведать тайны? Кто  
Толпе мои расскажет думы?  
Я — или Бог — или никто!*

Будто лёгкое и печальное облачко спустилось над нами, а Толя так и во-все сидел, свесив голову. Потом вздёрнул её, в глазах его сверкали слёзы.

— Слышите, мальчуганы! Это к нам обращается Его Величество Лермонтов: “Я! Или Бог! Или никто!”

Мы и выговорить-то ничего не могли, сидели рядом с великим нашим наставником и преданно глядели на его как будто измученное лицо. А он полистал книжку и будто молитву пропел:

*Нам не дано предугадать,  
Как слово наше отзовется, —  
И нам сочувствие дается,  
Как нам дается благодать...*

Мы ещё бродили внутри себя, заблудившись в своих собственных мыслях насчёт того, что означает сочувствие в нашей жизни, и уж тем более как применить к ней нездешнее слово “благодать”, а Толя Пудоль налил рюмки и произнёс не то чтобы торжественно, но всё-таки с большим значением слова, от смысла которых нас всех прохватил озноб.

— Поздравьте меня, ребята! — И мы хором поздравили его от всего сердца, полагая, что он окончательно устроился в газету.

— Славные вы мальчишки! — проговорил он, ничуть не возвышаясь и не превозносясь. — А ведь вы даже не знаете, с чем поздравляете!

Мы переглянулись, теряясь в догадках.

— А я сегодня, — веселёхонько молвил он, — сдал рукопись книжки своих стихов! И сразу подписал договор! И сразу получил аванс. Смотрите!

Он, будто фокусник, распахнул свой пиджак и вытащил из одного кармана толстую пачку денег. Шмякнул её на стол. Но чудо продолжалось! И он вытащил из другого кармана ещё такую же пачку и положил рядом с первой.

— Полторы и полторы! — прошептал он. — Три тысячи! И это только аванс за книгу моих стихов! Представляете!

Мы не представляли. Ни в прямом, очевидном, смысле слова, ни в переносном, этаким созерцательном. Но мы не позавидовали — вот что. Не вздохнули, пусть и со светлой, но мечтательностью. Мы просто восхитились этим замечательным Толей Пудолем, который бросает университет, вернее переходит на заочное, только и нужное-то ему для проформы, для диплома. Но кто и где эти дипломы требует в газетных редакциях, если ты умеешь талантливо писать, научился влезать в многообразные конфликты, сочинять пронзительные очерки и выплёскивать публицистические думы, от которых трепещут все подряд!

А ещё и вынашивать стихи! Да так, что тебе, всего-то четверокурснику, предлагают выпустить целую книгу и дают гору денег!

Мы и близко не могли приблизиться к таким высотам! Мы и возмечтать не помышляли о таком небывалом — не таланте, нет, а истинном Божьем даре, которым озаряются лишь немногие, наделённые чем-то невероятным, да ещё и откуда-то лично им спущенным. Ясное дело, сверху.

Есть такие выражения, вообще-то: “Его Бог в темечко поцеловал”, “Его ангел всегда над ним”, “Архангел по головке в детстве погладил”. В том благостном застолье и в те антирелигиозные времена, пожалуй, нам и не припоминались подобные приговоры, но спроси нас тогда и о таком, мы бы закивали головами, соглашаясь.

Толя Пудоль как-то просто вышел к нам из-за угла и повёл нас в ресторан. Это была и благодать, и провидение, вместе взятые. А он сам явился как посланец чего-то неведомого, но светлого.

Да-да, на самом деле, он явился из света, из солнечных лучей, из какого-то заповедного пространства, чтобы сесть рядом, испить заздравную чашу



с юношами, которые глядели на него, открыв рот, и внимали каждому его слову.

Мы просили его рассказать о себе, и он не отлынивал, пояснял, что родителей у него нет, воспитывала тётка, а писать он начал классе в восьмом — то была детская мура, пришлось бросить и кинуться в газетную работу. По здоровью в армию не взяли, он поработал в сельской районке, а поступив в университет, сразу пришёл в молодёжку. После трёх-четырёх больших кусков про деревню его позвали в штат. Он метался между лекциями и редакцией, потом от лекций отрёкся, его окончательно взяли на зарплату. Университет, точнее наша журналистская кафедра, им восхищалась, публикациям с его именем поражалась и, в конце концов, поощряла тем, что скрывала его неяски на лекции. Сегодня он написал заявление на заочное, а договор в издательстве, и вот эта куча денег уже жгла ему карманы!

Он, конечно, заплатил за нечаянный банкет. Вообще-то всё это вместе взятое стоило сто рублей, по четвертной на душу, да ещё и с выпивкой. И мы тогда же дружно затвердили решение — в день стипендии ходить в “Савой” и там вкусно обедать.

Таким образом мы обвыкали во взрослой жизни. Складывались маленькие традиции, устанавливающие образ бытия. Раз в месяц мы вспоминали Пудоля, который возносился всё выше и выше вдали от нас.

И числился в нашей компашке чистым гением.

Только вот после того полдника с выпивкой за его счёт он очень ослаб почему-то. Выпили мы всего-то один штофчик на четверых, и всяк из остальных был, как юный огурец, а его отчего-то развезло.

Мы бережно доставили названного учителя в частную комнату, которую он снимал, и уложили в постель.

## 6

Но кто бы и подумать мог, что Лермонтов способен людей разводить? Во всяком случае, трещина в отношениях с Джуркой обозначилась из-за него.

Ясно, что высокие, а уж тем более гениальные выражения могут долго бродить в человеке. Уже и забытые, они тревожат душу, толкают её на мысли, а мысли приводят к действиям, даже не всегда разумным.

Я заметил, что Джурка стал реже наигрывать на своём аккордеоне, но время от времени пропускает по утрам лекции. Ничего особенного в таком поведении не было, ведь ушёл же я однажды поутру в городскую баню, чтобы там гольшом постирать собственное бельё, попробовал, так сказать, бесталанно экономить средства. Вот и он оставался утром дома, переворачивался на другой бок, говорил, что не выспался, и делал вид, будто дремлет, пока мы с Бобой Виннером толкались в узких проходах нашей общей комнатухи, швыркали чаем, гремели ложечками, пыхтели, натягивая на ботинки наши потрясающие и модные в ту пору боты с пронзительной кличкой “прощай, молодость!” С молодостью прощаться мы, ясное дело, пока не торопились, но боты, суконные, с резиновой подошвой, надеваемые на ботинки, горячо уважали, ибо находили в них защиту как от морозов и снегопадов, так и от луж и ручьёв.

Потом Джурка стал подозрительно прятаться от нас в дальних аудиториях. И не просто так, а с тяжеленным “Ундервудом”, который перетаскивал с места на место. И когда мы его находили, он поспешно выдёргивал из машинки листок и прятал его под книги. Вольному воля, есть у тебя тайна — пожалуйста, храни её, но ведь, как известно, любая тайна всё равно прольётся наружу.

Впрочем, он сам её и пробил. Вернее, представил. Раскрыл. По-нынешнему, презентовал.

В один прекрасный день после лекций он позвал нас в пустую аудиторию подальше, засунул ножку стула в дверную ручку, потому что днём такие помещения не закрывались, и сказал, вернее, спросил:

— Можете послушать?

Разумеется, могли. И наш большой и лобастый Джурка принялся читать стихи, перелистывая листочки в самодельной, похоже, сшитой нитками книжце.

Мы — то есть Минибай и я, а также тихоокеанский матрос Яков, Коробкин и Гена Шидрин — слушали с доброжелательным вниманием. Стихи оказались вовсе неплохи, автор владел рифмой и ритмом, ну, мало ли, что порой сбивался. Зато чувствовалось его горячее желание сложить стихотворение. Его бы, скажем, можно и не писать, раз оно о природе, а о природе-то горы гениальных сочинений! Тот же Кольцов или Никитин — мы их в начальных классах наизусть учили. И трудно что-то новое здесь прибавить, хотя, наверное, и можно... Ну, и прочее тоже у Джурки выходило, с одной стороны, гладко, а с другой — так себе, средненько, ничего особого, хотя почему бы и нет...

Он волновался, конечно, прикрывал глаза, потел, а в аудитории висела тишь. Поэт затих. Спросил, отирая пот:

— Ну чо?

Мы попереглядывались меж собой, никто не решался открыть дискуссию. Тогда я и брякнул:

— “Нет, ты не Байрон, ты другой!”

Скок воззрился в меня туманным взором. Вглядывался и во что-то вдумывался, не понимая, как я выразился: похвалил или отверг.

Всегда доброжелательный Минибай ободрил Скока, наверное, из гуманистических соображений:

— Конечно, другой! Ведь там же говорится: “с русскою душой!”

Так это же он Лермонтова подтверждал! А Скок всё-таки не Лермонтов. Яшка Сенгур, человек с большим жизненным опытом, умело увернулся:

— Знаете, ребята, я открою вам и свою тайну. Третий год пишу исторический роман. Знаете, о чём? О Тьмутаракани, была такая страна в районе Тамани, где я родился. Там-то и явился настоящий русский народ! На перекрёстке, так сказать, половецких степей, татарских нашествий и русаков с голубыми глазами.

Генка Шидрин удивился историческому новаторству Якова, потому что полагал русским началом явление Юрия Долгорукого, начались некоторые прения сторон, которые закончились горячим выступлением краснофлотца. Что терять, дескать, время нельзя, оно утекает, как вода сквозь пальцы в умывальнике, и всем нам, как одному, надобно писать, писать и писать, перефразируя призыв Владимира Ильича “Учиться, учиться и учиться”.

— Ох! — вздохнул в конце обсуждения наш славный реалист Игорёк Коробкин. — Нам бы ваши заботы, братцы!

Он помолчал, поулыбался и проговорил:

— Я вот тоже стишата кропал, даже печатал, даже гонорарий за них кой-какой получал! Да!..

Продолжил, притухнув:

— А теперь твёрёзо понимаю: не моё это дело. Тут Божий дар требуется, никак не меньше! Знаете, я даже перестал читать любые стихи. В том числе классику! Стыдно признаться, но не по Сеньке шапка! И вот теперь соображаю, как бы научиться простые заметки писать в газету. Чтoб грамотно! Чтoбы идея была! Смысл! Чтoбы хоть кому-то помочь делом! Малость жизнь получать, а?

Возбуждение его угасало:

— Мне не до стихов. Мне бы выжить!

И он, чудак-человек, всхлипнул. Понятное дело, все, включая поэта, бросились его утешать, обсуждение само собой увяло, отошло в тень.

Ни в этот вечер, ни по дороге мы не разговаривали ни о стихах, ни о литературе, ни о чём, что где-то там, за морями, за долами и, как верно ткнул нас Коробкин, пока не про нас.

Перед сном я мельком подумал, что Джурка Скок пожизненно обиделся на меня. Ведь лермонтовскую печаль можно трактовать и по-другому. Мол, куда тебе до Байрона-то, друг. Пусть ты и русский душой! В общем, про поэзию Скока я предпочёл не рассуждать. Даже про себя. И вообще посеял

отвращение к любым доморощенным стихам, как к делу для газетчика недостойному. Вот о делах газетных — всегда пожалуйста. Тем более что я вдруг нашёл на столешнице перед университетским зеркалом сначала перевод на целый 200 рэ, а через день — большой конверт из моего родного гнезда с номером газеты, где целую страницу занимал очерк с картинкой, специально нарисованной художником. Очерк назывался не “Алые паруса”, что уж теперь-то мне ясно казалось бескрайним нахальством, а “Алые паруса мечты”. Куда ни шло! А подпись моя скромно помещалась внизу заметки и содержала сведения о том, что я студент I курса отделения журналистики. Дескать, чего с него возьмёшь?

Из газеты выпала записочка от добродушного Демидыча. Поздравляя с сочинением, он слегка посетовал мне на неважную проверку фактов, за что ему досталось на орехи от кого следует: Женя попала в детдом не потому, что родители погибли на войне, а потому, что были репрессированы и по сей день находятся в колонии.

Меня прошиб мороз, да ещё и на улице было холодно, зима не собиралась сворачивать свои ледяные покровы.

В душе я, конечно, помянул болезненного рекомендателя, но Женю пожалел, а перечитав своё почти выдуманное сочинение, дал себе слово следовать правде, только правде, одной лишь правде, как услышал в каком-то ненашенском кино. А всякие сочинения, включая, не дай Бог, стихи — это лабуда. Высокие материи не для нас. Классиков не переплюнешь, а Скоку тут нечего обижаться.

Такая теория, как узнаю я со временем и пойму, существует веками. Она довольно живучая, бродячая и кусачая. И может оборачиваться против своих апологетов.

## 7

Ещё в том, теоретическом, считай, семинаре я пожалел Игорька Коробкина за его настоящую правду. Стипендию-то он получал, спасибо Старославянцу, и это было для него спасение. Дежурства у трампарка с потеплением ликвидировались до следующей зимы, чтобы разгружать вагоны с углем, требовалась компания, а она не хотела сбиваться воедино. Других источников существования у Игорька не было, и они с Генкой по-прежнему варили вермишель на общежитской кухне. Хотя уже не в чайнике, а собственной кастрюле.

Вышло и ещё одно послабление: хлеб в столовых, в том числе и в нашей, студенческой, кляли горой и бесплатно. Это выручало самых бедных, а Игорёк никак не мог выбиться из них. Чай тоже наливали бесплатно, только за сахар следовало доплатить, но когда человек всерьёз голодный, он чай и без сахара пьёт, чтобы залить им куски хлеба.

Белый хлеб выставляли только изредка, а чёрный хорошо шёл с горчицей, круто посыпанный солью. Этакое острое блюдо, вызывающее сильное слюноотделение. Брюхо по этим причинам плюс неограниченный чай быстро набивалось этим добром, приятным во всех отношениях. Но такое ведь годится разок, другой, третий. А когда каждый день: хлеб с горчицей и чай, хлеб и чай? Вечером — вермишель, не всегда с маслом. Поневоле затоскуешь о куске мяса или хоть сосиске, какие уж тут стихи! И при этом человек по праздникам надевает выцветшую гимнастёрку с планкой наградных колодок, среди которых нетрудно узнать медаль “За отвагу”.

Я тащил Игоря Коробкина к тётке Дусе, иногда он поддавался, а потом проявлял неясную мне строптивость при всём своём мягком нраве, повторяя без конца:

— Неудобно, пацан! Мне неудобно!

Словно бы продолжал, когда мы шли от столовки по лестнице или по коридору:

— Понимаешь, я что-то не то сделал. Не туда залетел! А я не мальчик, чтобы ошибаться! Я уже почти пожилой человек! Мне семьёй надо обзаводиться! Детей рожать! Зарплату получать! Мне далеко за тридцать лет, а я всё ещё просто дембель!

— Но есть-то надо! — приводил я единственный доступный мне аргумент. — Тётя Дуся — добрый человек! Потом рассчитаешься!

— Эх, — вздыхал Игорьёк, — тётя Дуся, тётя Дуся!

И отворачивался в сторону.

Однажды по какой-то причине я возвращался на трамвае позднее обычного. Зашёл в магазин с пирамидами “Чатки” и купил, по обычаю, две свои французские булки.

Снова шёл вдоль пути у трампарка, и снова шёл снег, но не такой, как в прошлый раз. Снежинки сыпались огромные, они планировали, опускались медленно и лирично. Трамваи перезвякивались между собой, собирались впритык, окна в них поначалу сияли, а потом гасли.

На всё том же перекрёстке я увидел знакомую фигуру и сразу узнал Игорьёка. В руках на сей раз он держал не скребок, а обыкновенную метлу, прочищал ею снег, забивавший путевые стрелки.

Я окликнул его, и он, как всегда улыбочивый, подошёл ко мне.

— А где Генка? — поинтересовался я.

— Генка приболел, — ответил он, — лежит в общежитии с температурой. Под двумя одеялами: своим и моим!

Чувство печального юмора не оставляло Игорьёка Коробкина, и я захотел хоть чуточку выразить ему симпатию. Я приоткрыл на колене свой чемоданчик и достал обе французские булки, что я купил. Протянул их Игорю и сказал:

— Это вам с Генкой! Пока ещё не ночь, напои его чаем! Да и сам...

Одной рукой он держал метлу, будь она неладна. А другой прижал к груди две эти несчастные булки и глядел на меня во все глаза. Будто первый раз увидел и все не узнавал знакомого человека. Потом его плечи затряслись. А на плечах был снег, крупными своими снежинками положивший ему белые погоны.

Он плакал молча, склонив голову, неумело, стараясь скрыть от меня свои слёзы, хотя как тут скроешь-то, если плечи трясутся. А снежные погоны не падали с его плеч. Мокрый уже шёл снег. Зима близилась к концу.

И вот он сказал:

— Позор на мою голову! Это я тебе должен булку давать! А не ты! Ведь я солдат!

— Да ладно, Игорь Иванович! — едва сдерживая комок в горле, брякнул я, цитируя классику. — Сегодня я, а завтра — ты!

И кинулся от него к дому.

## 8

А дома застал Джурку совершенно пьяным.

Боба Виннер сидел за столом, пил краснодарский сладкий чай с булкой, намазанной маслом, а Скок изо всех сил рвал меха своего аккордеона, иногда поддвывая отдельные строчки известных песен.

При этом он успевал матюгаться и припугивать хрупкого филолога нецензурными выражениями. Я попытался обратить всё это в смех, в удивление, почему же Джурка не поделился радостью с близкими друзьями, а наглотался в одиночку.

— Анапа приходила? — спросил я у Виннера, а Скок быстро ответил:

— Три раза!

— И что?

— Говорила: нехорошо!

— Да уж конечно нехорошо! Но с кем же ты надрался-то?

— С Пудолем! — едва ворочая языком, ответил Джурка. — Во парень! Не то, что все вы! Засранцы!

Сообщение про выпивку с Пудолем слегка цапнуло меня, ведь всё-таки мы познакомились с ним все втрём, на равных, а теперь, выходит, появляются особые внутри сообщества отношения.

Сам же и отмахнулся: какие отношения? Всё складывалось совершенно случайно, без всяких обязательств, как, впрочем, и тут, в этой частной

комнатушке: каждый сам по себе, не так ли? И не стал расспрашивать дальше. Надо — сам расскажет.

Но Скока занимало что-то другое. Видно, выпил он основательно, но бывают люди, которых водка глушит не сразу, а постепенно. Джурка играл на аккордеоне, пел какими-то выкриками и пьянел всё заметнее.

В дверь постучали, она приоткрылась, и Анна Павловна, владелица этой конуры, чувствуя себя хозяйкой имения, сказала, тем не менее, вкрадливо:

— Ребятки! Уже поздно! Двенадцатый час. Девочкам надо спать! И вам тоже! Джурик, потише, пожалуйста!

— А! — воскликнул Джурик. — Анапа!

— Что? — не поняла та.

— Анна Павловна, щас, щас! Ещё пять минут!

А когда дверь притворилась, он сдвинул аккордеон и положил голову на него. С минуту, наверное, не менее, было тихо, мне даже показалось, что пьяный Скок так и уснул на своём трофейном инструменте.

Но он вдруг резко и трезво вскочил, небрежно толкнул драгоценный инструмент на свою кровать и обернул к нам лицо с покрасневшими глазами, будто долго тер их кулаком. Речь его была, понятное дело, совершенно нетрезвой, рваной, вскипающей матом, но логичной. И ужасной!

— Я не знаю, как мне жить! — воскликнул он для начала, и эту вводную фразу я принял как признак неважнецкой литературы. Даже усмехнулся. Боба Виннер поступил аналогично.

— Это знаю только я и моя мать! — продолжил он. — А теперь узнаете вы! И вам не станет от этого лучше! Но! Я! Не знаю! Как мне жить! — он снова выделил восклицаниями каждое слово.

— А может и не надо, нам-то? — спросил я.

Он повесил голову. Нетрезво помотал ею, будто хотел протрезветь, что ли? И снова повторил:

— Не знаю — как!..

Потом он сказал просто несколько фраз. А устроил тоску смертную.

Отец был на фронте, командовал какой-то связью, исправно слал письма, а мать получала деньги. Ещё она работала в библиотеке. Неподальку находился госпиталь. Некоторые раненые захаживали к ним домой. Мать угощала чаем, смеялась. И вот однажды Джурка пришёл из школы раньше времени. Учительница, что ли, будто заболела. Вошёл в дом, не скрипнув, даже обувь на крыльце снял. Входит в комнату, а мама с каким-то мужиком. Из выздоравливающих. Он не убежал, не затаился, а заорал в полный голос:

— Отцу скажу!

Джурка не стремился к последовательности. Рассказ свой прерывал. Много опускал. В конце объяснил, что мать вымолила у него, своего сына, чтобы молчал. За это она делала всё, что он просил. Отец с войны вернулся. И вот столько лет прошло, но он ничего не знает.

— Пусть и не знает! — сказал я, потрясённый откровением Скока. — И вообще! Нам-то зачем рассказал?

— Зачем! — прошептал он. — Да я не знаю, как жить!

— А теперь узнал? — спросил я довольно жёстко.

Мне почему-то стало обидно за Джуркину мать, которую никогда не видел. Да и отца его тоже, о котором понятия не имел.

Гуманитарий Виннер утешал со своего стула:

— Важное дело — выговориться. Тебе, конечно, полегчает, — ворковал он. — А теперь давай-ка ложись.

И стал укладывать нашего гиганта. Сперва мы убрали аккордеон с кровати, вложили его в футляр, потом раздели Джурку до трусов. Он глядел окрест непонимающими, отсутствующими глазами, покорно кивал головой кому-то — явно не нам, — бухнулся в койку и умолк.

— Теперь, — обернулся ко мне мудрый Боба, — он нас возненавидит.

— За что? — не сразу понял я.

— За то, что наградил, — он как-то брезгливо произнёс это слово, — своей тайной.

Утро началось чрезвычайно, часов в шесть. Я проснулся от того, что кто-то трогал мои ноги. На своей кровати сидел Боба Виннер, всклокоченный, каким бывает внезапно проснувшийся человек, а возле меня стоял Скок. И хлопал мне по ногам, чтобы я проснулся. Я подскочил, как, наверное, и Виннер. И тогда Джурка трезво произнёс:

— Дайте мне клятву, что никому ни слова!

Я глянул на Виннера. Он часто-часто кивал мне головой. Странное дело, но у меня обнаружили почти взрослые слова.

— Джурка, друг! — проговорил я, совершенно не уверенный, что имею хоть какое-то право говорить таким образом. — Мы ничего не слышали. Да, Боба?

— Да, да! — подтвердил тот.

— Но это твоя, понимаешь, твоя личная тайна! И, наверное, есть тайны, которые люди уносят в свои могилы! Унеси и ты!

Он как-то встрепенулся, посмотрел на меня непонимающим взглядом, будто думал. И только подумав, кивнул.

## 9

Минибай как представитель Крайнего Севера сразу оказался в общаге, поэтому мы виделись только на лекциях, а поболтать могли в перерывах между ними.

Он отвёл меня в угол коридора и с выпученными глазами сказал, что утром к ним в общагу явился полутрезвый бог наш Толя Пудоль, вызвал Минибая на улицу и рассказал ему про Джуркино бедствие. Он-то боялся, как бы что со Скоком не произошло, думал, тот живёт в общежитии и приехал туда. А теперь Минибай перелагал мне всю эту тайну.

Я не знал, как себя вести. Одному другу дал слова молчать, но другой друг, оказывается, тоже посвящён, а Пудоль, видать, на нетрезвый язык Скок первому свою тайну и выложил. Как теперь быть?

Я молчал и, наверное, отводил глаза в незнанку: почему мне вообще надо всё это знать? С какой стати? Разве всё надо до дна выкладывать при первой расслабке?

Минибай разглядел мои уклончивые взгляды. Спросил:

— Ты знаешь?

Я пожал плечами:

— А зачем такое знать?

Он обрадованно согласился. Я продолжил:

— Это его родные... Какое нам-то дело?

— Точно!

Надо, пожалуй, отдать должное нам, пацанам тех времён — и Минибая, и Виннеру, и Пудолью тож. Никто из нас не произнёс больше ни слова, даже друг с другом, про эту Джуркину историю. Но вряд ли не думал. Думать ведь не запретишь.

А Джурка сначала вёл себя так, будто виноват перед нами. Вот именно так, а не иначе — перед нами, а не перед тем, перед кем бы надо. Он как-то заискивал, даже заигрывал. Был подчеркнуто деликатным, проявлял дружелюбие, обрадованно смеялся не самым смешным нашим шуткам.

Мне, честно сказать, хотелось его пожалеть. Но почему-то не получалось, странное дело. Что-то такое недоверчивое копошилось внутри меня. Какое-то нехорошее — моё собственное недостоинство, если можно так сказать. Что-то во мне самом таилось неласковое, раньше не бывавшее. Какая-то опаска. Будто сунуло носом в чужое барахло. И если оно даже крахмально-стираное и глаженое, всё равно ведь чужое. Зачем это?

Однажды нечаянно подумал: а что, если бы это случилось с тобой? Ущипнул себя за руку: как ты можешь даже подумать такое, это не про тебя, у тебя такого быть не могло.

И вот тут мне стало отчаянно и совсем по-новому жаль Джурку: как выжить с таким воспоминанием? И ты бы не смог!

И вдруг оказалось, что Джуркина мать приезжает навестить своего сына. Устроилась она, по рассказам Скока, у знакомых, а приходила к Джурке сразу после лекций на частную квартиру, к Анапе, и мы с Виннером увидели её только раз, тотчас после приезда. Выглядела эта женщина обыкновенно — полновата, простоволоса, неприспособлена к одежде; здороваясь с нами, вела себя скромно, точно робея учёных студентов, и мы с Бобой до крайнего часа торчали в университете, даже после закрытия читального зала, чтобы не мешать общению родственных душ.

Через неделю Джуркина мать уехала.  
Он ходил, будто мокрый щенок.

## 10

*А жизнь неслась!*

Нам иногда кажется, что жизнь — это только то, что происходит лично с нами! Вот ты хорошо сдал экзамен и зачёт, и это великая победа, заработал стипендию! Или одолел какую-то, как раньше казалось, неподъёмную книжищу, вроде “Жана Кристофа” Ромена Роллана — четыре могучих тома. Да и каких! И дело, конечно, не в том, что ты их просто прочитал! А в том, что, прочитав, крепко раздумался — именно так! — о мире людей, таких далёких от тебя во времени и пространстве, но таких понятных своими мыслями и поступками!

Мир всякого человека, я уверен, не может остаться неизменным после таких книг, но в каждой отдельной судьбе — это только личное твоё событие. Оно, надо надеяться, изменило тебя, но не переменяло мир, и трудно верить в простые перемены, когда всё и разом улучшается в целой державе. Бедь для этого надо, чтобы, скажем, миллионы людей в один и тот же месяц, всё побросав, одолели того же “Жана Кристофа”, закручинились, переменили себя изнутри, а тогда бы враз улучшился и целый мир. Хотя бы наш мир.

Но такое и представить даже нельзя. Да и вообще, что такое пусть и великая, сотрясающая, но лишь одна книга в жизни человечества? От того, что ты её прочитал, мир как не улучшится, так и не рухнет.

И вообще, жизнь, наверное, — это что-то вроде потока громадного! Всеобщего! В нём и воды, и ветры, и души живых и усопших, и движения армий, каких-нибудь бесчисленных танков, и трепет голубя-турмана, и люди, зачем-то идущие в сплошном снегопаде, и боль, которую утишают врачи, и боль, которую уже ничем не утишить. И в этой жизни — ты, маленький огонёк, незаметная частица, но и в то же время ты — огромный мир, если способен замирать над “Жаном Кристофом”, проваливаясь сквозь страницы куда-то в пространство меж звёзд, чтобы если и не понять, то содрогнуться, узнавая, из чего происходят звуки музыки и является гениальность, как неведомый, невидимый и ещё никем не понятый Божий дар.

Наивно верую, что студенческая пора — это время открытий даже не столько мира, сколько себя. Перед тобой предстают собственные возможности, которые можно смело наречь природными ресурсами.

Всё в тебе открыто и хорошему, и дурному. И сам ты готов выложить-ся во все свои, пусть даже кем-то внушённые, мечты. Ты боец и дитя сразу, конструктор собственной жизни и чернорабочий-исполнитель.

Ты зайчик и орёл, наивен и всемогущ!

Боже, отчего же такое великое множество бедолаг, будучи гениями в студенчестве, так и не могли ужиться в серьёзном мире?

И всё-таки, всё-таки жизнь — это что? Да всё, что вокруг нас, и всё, что мы есть сами!

Но к чему, собственно, эти размышления? А может, к тому, что студенчество послевоенной поры теперь-то, задним числом, мне представляется этикими горами!

Высоты духа обладали сказочным умением соседствовать с его низинами, голод с философией, раздольная вольница со строгостью внутренних правил, не нами придуманных.

*Мы же не удивляемся, когда пьяный плачет. Он пьян, а значит, нехорош. Но он плачет, чему-то сочувствуя. Пусть даже самому себе, значит, он прекрасен!*

*Потому никто не удивился, когда Джурка с головой опрокинулся в творческий омут.*

## II

Нет, теперь это не были стихи.

Вообще-то, как вы помните, мы начинали с простого и втроём, но ничем особенным, кроме трёх подписей под жалкой заметкой и заработком по 9 рэ каждому, это не кончилось.

Врозь по-своему нас посетило ощущение неловкости, которое хоть и утешил многоопытный Зиновий Абрамович, да оно и само поспешно угасло в многообразии бытия, а всё-таки, видать, где-то в каждом присутствовало. Затаилось.

Мы, похоже, пришли к необходимости пробовать каждый по-своему, а я, грешен, ещё на каникулах, из дому, перед самым моим выходом на шинный завод, вдруг взял да и написал письмецо в журнал “Советское фото”. Тогда много что оживало после войны. И молодёжная газета в каждой области и крае, закрытые на четыре военные года, радостно принялись выходить снова. И даже журналы. Вот и “Советское фото” объявилось в подписных каталогах, и я, ещё десятиклассником, выписывал его. Был этот журнал довольно толстым по тем временам, но фотографии помещались небольших размеров, цветные вклейки, правда, тоже появлялись, однако нерегулярно — о цветных фотографиях тогда только мечтали.

Ну, я и бухнул такую заметку за подписью студента первого курса отделения журналистики, что, мол, газета требует не только текстов, но и фотографий, а на отделениях журналистики, по крайней мере, у нас, на Урале, даже такого предмета нет.

Будь моя воля, я бы тогда лягнул старославянский, мол, лучше бы вместо него была у нас фотограмма, больше толку, но деликатно удержался. В конце обращал внимание неведомых властей на предложение: немедленно вести курс фоторепортажа для грядущих газетчиков.

Написал, послал и забыл.

И вдруг, как это случилось уже во второй раз, мне кто-то говорит, что на полке перед зеркалом мне сияет денежный перевод из самой Москвы! Когда приходят такие известия, обычно люди всё бросают и бегут! Но скорее всего, как почти обо всём хорошем, меня известили о переводе в столовке, и я, с трудом сдерживая себя, по-взрослому и неспешно дохлебал щи, укрепившись котлетой, ну, а потом, под свидетельские взоры друзей, прошествовал мимо тётки Дуси, где отныне и навсегда действовала для моего организма безотказная кредитная линия.

С трудом сдерживая шаги, я подошёл к зеркалу, возле которого вечно кружилась девчачий, приукрашивающий собственную действительность, перевод. Передо мной расступились, я увидел своё имя на помятом извещении, вчитался, сумма рублей в 80, а на штампе, действительно, Москва!

— Москва, Кремль! — шутканул Минибай, и я небрежно обернулся к ближайшим своим содругам.

— Не скрою! Вероятно, курьером!

— Сто тысяч одних курьеров, — напомнил Джурка Гоголя.

— Лучше бы, — не сломался я, — сто тысяч одним курьером!

Через час деньги жгли мне карман, и оказалось, что они от “Советского фото”, но сам журнал в нашей библиотеке отсутствовал. Немножко потолкавшись, я нехотя пояснил, что мне опять надо на главпочтамт, а сам бросился в городскую библиотеку, где и обнаружил в журнале своё воззвание, набранное крупным шрифтом и на видном месте. Да ещё и с припиской редакции, что она горячо поддерживает мнение студента. Студента с Урала. Мол, не забудьте — опорный край державы!



Ещё через пару дней, там же, перед зеркалом, у всех на глазах я обнаружил фирменный конверт из “Советского фото”, где редактор отдела по фамилии Пригожин меня благодарил от имени целой редакции, предлагал сотрудничать и дальше, объяснив это тем, что у них нет связей с Уралом. Тут же выдвигал соображение, что был бы полезен большой обзорный очерк об уральской газетной фотожурналистике.

Ни фиги себе! Тут же поделился со всеми своими соратниками необыкновенным заказом из столичного — надо же! — издания! Откровенно говоря, вибрировал я совершенно чудесным образом. Мне и хотелось, и боялось! Но самое забавное, я не знал, как к этому подступиться.

Выручил Пудоль. Изжевав с братвой все возможные варианты, зная, что никто из них никогда в своей жизни не фотографировал — разве мыслимо теперь это даже просто вообразить! — я решил без шума и гама подойти к Толе Пудолю.

Показал ему письмо. Тот вскинул брови, улыбнулся чистой дружеской улыбкой, воскликнул:

— Пошли!

И мы куда-то отправились по длинным-длинным, в километр длиной — ну, метров двести! — редакционным коридорам. На каком-то повороте двери оказались распахнуты, там было для зимы очень тепло, почти жарко, а посреди пространства медленно крутился огромный сияющий серебристый барабан.

Это потом я пойму, что прибор этот просто сушит и глянцеует фотографии, а народ, который окружает его, хохочет и поругивается — фотокорреспонденты почти всех уральских газет, которые, отснявшись, отпроявлявшись, отпечатавшись, лакировали свои работы, дабы снести их заведомо, ответсекретарям, а то и самим главным редакторам, чтобы наутро их картинка украсила газету. А тогда я затих от трепета, будто вступил в зубодробительный кабинет.

— Мужчины! — как-то ласково, по-братски сказал им Толик. — Минуточку внимания! Вот, рекомендую вам, — он горделиво протянул руку в мою сторону, — корреспондента журнала “Советское фото”.

Мужики недоверчиво притихли. А Толя забивал свой гвоздь в мою крышку:

— Да, он студент! Но уже печатается в этом журнале. И у него редакционный заказ: сделать большой материал про вас про всех!

То ли стон, то ли возгласы сомнения встретили это сообщение. Смысл состоял в том, что ведь их много, да и разве бывает про всех?

— Вот вы и подскажите ему! — продолжал Пудоль. — Назовите одну группу, да? — обернулся он ко мне, и я кивнул. — Потом другую! Журнал только возрождается! И всех вас переварит!

Эта невзыскательная шуточка помогла разрешению недоверия. Мужчины, перебивая друг друга, но и соглашаясь всякий раз, назвали мне четыре первых имени, никого из этих маэстро тут не было: один болел, другой готовил свою персональную выставку, а двое находились на съёмках, но меня снабдили телефонами каждого из кандидатов.

Я, надо признаться, благодаря Толе, отделался междометиями: “Да!”, “Ох!”, “Ух, ты!” Никакая речь от меня не требовалась — как хорошо! Но все номера записал, продиктовал свои имя и фамилию и ушёл, награждённый фотографический лаской.

Заведующий лабораторией — дядя Миша, — кудлатый и широконосый, спросив, снимаю ли я сам, как-то искренне приветствовал это и предложил:

— Если тебе что-то надо проявить или напечатать, заходи сюда! В любое время! У нас тут всегда всё есть. Наготове! И растворы! И этот барабан, — ткнул пальцем в неостановимый глянецователь, — всегда крутится!

А на прощание совсем приласкал:

— У нас тут вся фотографическая братия толчётся! День побудешь — всех узнаешь!

Я так и сделал. И четверых выдвиненцев узнал. И с каждым из них провёл много-много часов, подружившись накрепко. А написав своё сочинение,

довольно-таки продолжительное и неспешное, да ещё не только проверенное, но одобренное каждым из моих героев, вместе с целым пакетом превосходных отпечатков отправил авиапочтой Пригожину.

Всего-то через два месяца — разве срок для журнала! — меня только что не качали в фотолаборатории Дома печати за развёрнутый и подробный обзор творчества уральских фотомастеров с их снимками. Был с нами и Толя Пудоль, мой проводник, Дерсу Узала моей судьбы. И дядя Миша, к той поре закадычный верный друг и радетель, хлопал меня по плечу.

А ещё через неделю перед университетским зеркалом появился перевод — о ужас! — на четыреста пятьдесят рублей.

Целых две стипендики!

## 12

Я ничего не скрывал от своих корешей, ни малейшей детали, ни единого страха. Уж не говоря о радостях разговоров, новых знакомств, рассуждений почти что на искусствоведческие темы — фотография, если ещё кто-то не знает, настоящее и замечательное искусство.

Воленс-неволенс, но в самые сжатые сроки я познакомился со всеми серьёзными фотокорами города и был изрядно обрадован их человеческим достоинством. Никто не выпендривался перед другими. Все были “на ты”, а как в каждой мужской компании тех лет, люди ещё не отвыкли от военной формы и иные ходили в гимнастёрках, хоть и без погон и наград. Не полагалось срезать только нашивки за ранения. Почему, никто этого не знал и не обсуждал. Может, таким легальным образом раненые фронтовики отделяли себя от всех иных, безболезненно отслуживших остатки войны в тылу?.. Но эти фронтовики с нашивками требовали обращаться к ним исключительно “на ты”; собравшись у блестящего барабана, доброжелательно разглядывали снимки друг друга, были в курсе того, кто, куда и зачем на сегодня исчезает, и абсолютно друг к другу добры — вот что!

Иногда, особенно к концу дня, они где-то там, под красный лабораторный свет, потихоньку прикладывались, ещё больше веселили и становились ещё добрей. А меня так и просто полюбили и не по заслугам уважали. Я и действительно готовил второй обзор фотографической жизни Урала и, таким образом, имел полное право приходить сюда не только за разговорами, но и со своим скромным интересом: проявить плёнку, мгновенно высушить, напечатать, да ещё и карточки проглянцевать. Естественно, фотобумагу носил с собой. Таким образом, полегоньку-потихоньку я смастерил несколько уральских пейзажей, которые и тиснула “Засменка” при подаче Толи Пудоля и при слегка надменном согласии Эльзы Павловны.

Всё это моё увлечение поможет и потом, позже, и хотя не главным образом, в частности, но после ещё одного сочинения на тему фотографических мастеров, а затем и ещё одного я как-то угас, хотя ни от чего не отрёкся. Спасибо судьбе, но дружба с фотокорами всегда и во всех редакциях одаряла меня простотой, понятливостью и какой-то невелеречивостью.

Но мой первый взрыв как бы поставил меня на ноги. Я стал замечать, что взоры, направленные на меня, стали приобретать новые оттенки. Ну, во-первых, я разглядел упрочение прежнего простодушия и доброты. Они исходили от ветеранов — матроса Тихоокеанского флота Яши, от Игорька Коробкина и примкнувшего к ним крепыша Генки Шидрина.

Минибай открыто и прямо желал встать на путь, аналогичный моему, получил от Пудоля производственное задание, с неделю сразу после занятий уезжал куда-то на трамвае, а потом яростно комкал бумагу в опустевших аудиториях. Когда я подходил к нему, он отставлял исписанные листки и чертыхался, повторяя: “Не идёт! Не идёт!”

Зато Джурка давал дрозда! Он отпрашивался в деканате и исчезал дня на два. Потом ещё исчезал. И ещё. Раз уж мы жили в одной комнате, тайна его вскорости раскрылась. Под руководством Пудоля он взялся написать три больших сочинения про разных молодых ребят. Одни строили высо-

ченную заводскую трубу. Другие — мост через неслабую речку. Третьи конструировали какой-то механизм. В общем, это была целая трилогия.

— А может, тетралогия, — вполне серьёзно горячился Скок. И мечтал: — Может, книжка получится!

Книжка! В своём извительном доброжелательстве мы тут же приклеили Джурке кличку Голсуорси. Благо, к экзамену по зарубежке следовало спешно одолеть многотомную “Сагу о Форсайтах”, прочитать которую требовалось-то как раз не в спешке, а в медленности и раздумьях о лукавстве буржуазных ценностей.

Главное, свой Голсуорси, сочиняющий тетралогию о молодых трудящихся, у нас, по крайней мере, тоже обнаружился. Он внимательно расспрашивал про мои разработки трудов об уральских фотокорреспондентах, перечитывал “Советское фото” с моими обзорами, хвалил глянцевые фотографии из-под горячего вала, украшавшего “Дом печати”, и всякий раз как будто успокаивался. И без разъяснений было ясно, что мои достижения — слишком обыденная мелкота, а его интересуют люди, отношения. “Литература!” — однажды проговорился он.

Наконец, громыхнул колокол настоящей славы.

Четыре дня подряд “Засменка” печатала полосные сочинения Скока про великолепных героев. Они иллюстрировались редакционным художником, а не фотографиями и потому выглядели так, как будто это рассказы, но из нашей жизни. Газета стала выходить к той поре пять раз в неделю, а цикл сочинений Джурки Голсуорси превратился в настоящий триумф. Четыре номера кряду! Над каждой полосой имя Джурки сверху, крупным шрифтом, без дураков, курсивом, будто писанное от руки. По содержанию они походили друг на друга, эти сочинения. Во всех ребята всегда воюют. С какими-то начальниками, с конкурентами из других бригад. Живут справедливо! Бодро! Завидно!

Четыре дня коридор возле нашей аудитории привлекал разнонародье с разных факультетов, на Джурку приходили посмотреть из соседних корпусов, а наша ближняя, филологическая и, значит, девичья публика будто откровенно Скока второй раз, только теперь, кажется, разглядев. И мы попадали под лучи его славы. С нами тоже вежливо раскланивались, будто мы вроде как славные подмастерья великого классика и где-то во тьме размешивали художественные краски нашему другу, создававшему чудесную живописную сагу. В этой путанице совсем незаметной проскочила деловая заметка Минибая, в которой он в пух и прах раздолбал железнодорожное депо.

Но цветущая ветвь славы обломилась на пятый день с её начала. Прозвенел обычный звонок, мы вышли с лекции в коридор, и к Джурке двинулись несколько здоровенных парней. Не все они были выше него, но все — шире в плечах, да и все гораздо нас взрослее: молодые и крепконогие мужчины. Джурке они дерзко приказали выйти с ними, он испуганно повернулся к нам, пытаясь улыбнуться, и сам, ещё ничего не понимая, воскликнул:

— Это мои герои!

— Иди! — один толкнул его в плечо самым грубым манером. — Герой!

Они быстро скатились по лестницам при полной растерянности случайных свидетелей и вышли на улицу. Повторюсь — была зима, хоть и её конец, снег надёжно укрывал околоуниверситетские грязи, а балконы были ещё законопачены. В окно мы увидели, как мужики вывели Скока прямо на проезжую часть и стали ему что-то выразительно выговаривать. Махали руками. Указывали на что-то, даже вверх, на небо. Потом один, самый рукастый, протянул длань, и Джурка свалился. Этого мужика схватили другие, но он всё рвался. Джурка вскочил и отбежал. Он что-то грозно кричал своим обидчикам, даже, похоже, матюгался и размазывал кровь, черневшую под носом.

Промедление было постыдным, и мы молча кинулись на выручку. Но пока, перескакивая через ступеньку, скатились со второго этажа и вылетели на дорогу, мужики уже заворачивали за угол, а Джурка шёл навстречу нам.

Он и в самом деле матюгался, тряся, вытирал кровь, идущую из носа. Ни на какие вопросы отвечать был не в состоянии, так что нам оставалось

довести его до большого нашего туалетница, на десять, между прочим, очков, где он прильнул головой к струе ледяной воды в умывальнике и постепенно утих.

Он так там и досидел до конца занятий, утирался, протирал платком голову, да и мы ему ещё свои отдавали, уходя и возвращаясь. Потом появился Пудоль. Не снимая пальтеца, он заглянул прямо во время лекции в аудиторию и, вежливо обратясь к лектору, попросил Джурку. Мы громко указали, где он. Тут же отпросились выйти. Нам радостно позволили — ведь радовались-то поначалу весь корпус.

Мы догнали Толю при подходе к значному месту. Он как-то споткнулся перед ним, но вошёл: и то верно, разве это подходящее место для разговора? Джурка сидел на батарее, курил одну за другой сигаретки, и лицо его от сильного, выходит, удара посинело и отекло. Пудоль встал перед ним, помахал шапкой, которую держал в руке, чтобы разогнать табачный дым, и сказал:

— Ну, здесь же невозможно! Идём!

Мы зашли в ближайшую аудиторию, вежливо попросили каких-то девочек покинуть её, объяснив просьбу предстоящим мужским разговором. И Толик сказал, так и не снимая пальто:

— Ребята, — проговорил он, оглядывая по очереди наши фигуры — Минибая, Якова, Игорька, меня. — Что же вы делаете?

Никто из нас ничего не понимал.

— Я так старался, Джурка, — говорил Пудоль, теперь уже обращаясь к нему одному. — Так жал на Эльзу и главного. Так за тебя бился! И вот...

Он помолчал и тихо сказал:

— Завтра заседание в обкоме. Главному дадут выговор. А меня, скорей всего, уволят.

— За что? — воскликнул Минибай.

— Да за то, что он всё выдумал. И всё перевернул с ног на голову! Одних приукрасил! Других обосрал, извините за выражение! И сделал это ошибочно!

— Да я, — жалобно заговорил Джурка, — писал очерк, почти рассказ. Ведь литература всегда борьба добра со злом!

— Охо-хо! — вздохнул Пудоль. — Добро со злом, конечно, борются, но зачем же фамилии-то живых людей использовать, как тебе заблагорассудится? Ты что — Господь, чтобы назначать добряков и злодеев?

### 13

Когда отгремели скандальные раскаты, когда мудрый Яков очень просто выговорил вечную истину, что самое безопасное для брата-сочинителя это давать герою произведения расписаться на последней страничке, когда редактору действительно где-то на небесах объявили выговор, Пудолу устроили выволочку на планерке, а самому Джурке — воспитательный карантин длиной в квартал, лишив его большой доли вознаграждения, настала тихая пора очищения.

И я вспомнил подзабытого Петефи:

*Что — слава? Радуга в глазах,  
Луч, преломившийся в слезах!*

И новые мудрые мысли и великие заповеди чаще всего приходят нам на язык в самый неподходящий момент. Не замечали? На этот раз Петефи пришёл мне в голову, когда уже по весне, немало недель спустя, мы с Джуркой по оттаявшему асфальту подбежали к уходящему троллейбусу и вцепились в ручки, ведущие на крышу.

Хитроумные борцы за билетные доходы начисто спилили задние буфера на всех троллейбусах, и там, под длинными железными прутьями оставались лишь два полукруглых отверстия — можно всунуть полботинка.

Мы это и сделали, каждый по ноге, и, балансируя, прижимаясь к угрюмой стене электрической машины, помчались навстречу судьбе.

Тут я и крикнул Джурке великую цитату из Петефи. Он засмеялся.

— Лучше не сказать!

Будто освобождался от какой-то тяготы, да ведь и всегда так с нами происходит. Со всем подряд. Что-то сотворится, и кажется — конец всему. Но вот настанет весна, засияет дорога под солнечными лучами, ты успеешь вскочить на троллейбусный приступок всего одной ногой и, опасно балансируя, вдруг встречаешь радостную истину.

“Луч, преломившийся в слезах!”

Впрочем, какая там слава! Мы и слово-то это не решались выговорить. Газетная работа, учил нас непререкаемый Зиновий Абрамович, это не блеск, не треск, а самая что ни на есть чернуха, вполне сравнимая с трудом землекопа. При этом он напоял и Маяковского, хотя тот говорил о поэзии: “Изводишь единого слова ради // тысячи тонн словесной руды!”

— И вам это предстоит, — не уставал он внушать нам *прописи*. — И вы ищите слова! Но главное: проверяйте факты, переспрашивайте, если не понимаете, про одно и то же выясняйте у троих-четверых-пятерых. Десятерых, если надо. Не робейте зайти к начальнику, умейте спросить о неприятном — пусть объяснят! И судить не торопитесь!

На задворках главной городской площади притулилось двухэтажное зеленое здание, маленькая, когда-то частная типография, превращённая временем в учебную типолабораторию, и хотя управлял процессом коренастый человек, считавшийся директором, Зиновий Абрамович был тут главным. По крайней мере, для нас. Показывал линотип, верстальную раму и стол под низко висящей яркой лампой в старинном квадратном абажуре. Учил знакам правки, какой сигнал означает разделение, соединение, вставку... Мне страшно нравилось тут всё и, прежде всего, запах краски, мерный стрёкот линотипа, здесь — единственного. Нравился и глава типографии, он же верстальщик, с остреньким и кривым шильцем в руке, которым удобно вытаскивать буквицы шрифта при наборе заголовка в — слово-то какое! — кассе шрифтов.

Может, оно было написано на моей физиономии — моё удовольствие, но я отсюда никогда никуда не спешил. Только, конечно, голод гнал к тётке Дусе, а до неё остановок пять-семь, не меньше. “Искусство требует жертв”, — сказал кто-то из великих, и я, бывало, опаздывал в столовку, особенно когда пристала пора самому что-то тут же написать, поправить, вычитать гранки, дожидаться, когда тиснут полосу и снова расписаться, подтверждая, что за слова, сочинённые тобой, ты несёшь ответственность. Другие убегали, торопились отсюда, в конце-то концов, это не лекция, а практические занятия в типолаборатории. А я терпел.

В ожидании гранок, оттисков, да и просто так мы оказывались совсем уж малой кучкой возле Зиновия Абрамовича, и он занимал нас разнообразными советами. Говорил, например, что нам надо использовать возможности большого города: ходить в театры, в музеи, причём музеи следует посещать не как все — походить да и забыть, — но штудировать темы, получить образование, которое университет не даёт. Особенно он склонял нас сходить в Геологический музей.

Картинную галерею он как-то обогнул, сославшись на великого Бову, Бориса Васильевича Помяновского, нашего знаменитого преподавателя, — вспомним Моцарта! — а ещё и большого знатока всех тутошних искусств, особенно каслинского литья.

— Вы слышали, — спросил между прочим, — он только что выпустил первую монографию о каслинских мастерах. Продаётся в магазинах. Рекомендую.

Помяновский был худым, очкастым и очень шустрым. Только годы спустя я осознал необходимость всех тех его достоинств: он был и там-то и там-то, и одно заседание или занятие у него сменялось другим, а частными автомобилями тогда если и владели, то сугубо избранные. Вот он и скакал по городу то на трамваях, то на троллейбусах.

Внешне он выглядел вполне доброжелательно, хотя до определённого края, и не стеснялся своей поспешности. Однако на лекциях его о, например, импрессионизме моя голова вдруг начинала наполняться чем-то мягким

и тёплым, вроде ваты, и почти падала вниз. Падая же, пробуждалась, но ненадолго. Так что великая пора студенчества некоторых, наиболее волевых, обучала спать с открытыми — или полуоткрытыми — глазами, твёрдо удерживая шею. Наверное, среди причин была и удалённость импрессионизма, кубизма и всяких других “измов” от нашего реализма, ограждённого простыми флажками: еда, сон, лекции, зачеты с экзаменами — и проистекавшая из всего этого стипендия.

Заметив наше не вполне горячее отношение к истории искусств, Борис Васильевич однажды объявил:

— На следующей лекции расскажу, нарушая курс, про сто способов заработать деньги!

Аудитория взволновалась, а он угнетал:

— Вот вы дремлете, вам кое-что просто чуждо! И я вас не виню! Всё в человеке соединено! Все шестерёнки крутятся, помогая друг другу. Создают смысл существования! А всякое стремление — это как выстрел. Все ваши возможности приходят в движение! Вам не хватает выстрела над ухом! Короткого замыкания! Необходимо пробудить себя к действию!

Выходит, сто способов заработать деньги не выпадали из концепции искусствознания по Помяновскому. Ну, как не поверить ему, вспоминая его предисловие при исполнении “Реквиема”!

Он с этого и начал через неделю. На лекцию припёрся народ с других, даже старших курсов, опытные, можно сказать, волки. Ну ладно, волчата хотя бы!

Блестая очёчками, Бова начал с искусства. В школах, сообщил он, а особенно в домах и дворцах пионеров не хватает специалистов по истории мировой культуры. Школы ещё раскачиваются, а вот в пионерских заведениях всё проще, можно ходить после лекций, за это дают деньги. Ясное дело, надо искусство-то знать. Хотя бы в общих чертах.

Наш вездесущий искусствовед много, конечно, чего посоветовал. Например, ходить с лекциями от общества “Знания”, читать лекции обо всём подряд, хоть о звёздах, но что мы знали про них? Это его отнюдь не шокировало. Пожалуйста, прочитайте брошюру про Утёсова, запомните его детство да названия песен — и вперёд! “Всё хорошо, прекрасная маркиза! Всё хорошо, всё хорошо”. Он ещё и пел, дурачась, завлекая наше братство в неведомые авантюры.

Девушкам он рекомендовал подрабатывать ночными сиделками в больницах — это нашим-то цыпам-филологиям? Парням постарше — грузовые работы на вокзале, но это уже наш народ освоил. И, наконец, Помяновский подкинул забавную мыслишку. Хотите, мол, в театр за так ходить? Записывайтесь в массовку! И разъяснил: идите за кулисы в оперный театр и там вас оденут в кого-нибудь. Ну, не все же на сцене поют. Артистов-то раз-два — и обчёлся. Зато стоят сзади какие-то люди, одетые в царские одежды, в рыцарские доспехи. Они ходят, когда и куда скажут, открывают рот, если надо крикнуть — научат и кричать. Это массовка. В балете есть кордебалет, но в этот самый кордебалет посторонних не пускают, там надо танцевать и роли, даже самые третьестепенные, исполняют наученные артисты. А в опере — пожалуйста! Только слушай помощника режиссёра. И прямо в конце всякого спектакля, когда будешь сдавать одежды, тебе выплатят гонорар.

— Сколько? — кричала аудитория.

— Давно не ходил по сцене, — призадумывался профессор. — Да с четвертной, пожалуй.

Речь знатока длилась академический час и много чего ещё он тогда посоветовал. Но эта возможность — стать вдруг артистом без роли, ходить по вечерам по сцене в рыцарских — ёлки-палки! — доспехах кое у кого засела в мозгах.

## 14

И здесь самое время, пожалуй, порассуждать о связи культуры и голода. Теперь это редко совпадающие понятия. А тогда, вскоре после войны связь такого свойства прослеживалась очень даже определённо.

Пару раз, и оба раза в читалках — в нашей, университетской, и в городской — я видел, что люди, вполне, впрочем, молодые, лежали головой на книгах, раскрытых перед ними. Сперва на них поглядывали прохожие читатели, потом кто-то догадывался указать на это библиотекарям, и вот это я видел сам: их трясли, а они не могли проснуться. И похоже, это был не сон, а голодный обморок.

Пожилые библиотекари знали толк в своих читателях, и вот в городской я увидел, что, безуспешно похлопав тощего парня по щеке, пожилая женщина побежала за кулисы книжного рая, а выбежала с чашкой горячего и, наверное, сладкого чая, потом, полуразбудив читателя, влила в него первый глоток.

Он как будто спохватился, обшаривал непонимающими глазами обступивших его людей, потом пришёл в себя, допил чай, и его вывели на улицу, отправили восвояси. В нашей же читалке обморочного просто взяли под руки двое ребят покренче, вывели в коридор, похлопали по щекам, принесли стакан простой воды.

Что сказать! Читатели эти несчастные были просто голодными, а в читалку всё-таки шли, хотя никто их не принуждал. Иногда я думал, может, им некуда было деться?

И ещё одна, крамольная, вероятно, идея: а вдруг голодному человеку книги дороже, чем сытому? И театры, где идёт, к примеру, “Князь Игорь”? Какие-такие сейчас князья? А тогда князь Игорь был защитой и опорой всех подряд.

Я и сам себя на этой мысли прихватил. Однажды шёл с главпочтамта мимо кинотеатра “Совкино”. Перевод до востребования я не получил, в первую попавшуюся столовку заходить показалось страшно.

Но какова логика такого бедующего персонажа? Он заходит в кинотеатр и за последний рубль покупает билет на фильм “Багдадский вор”, из трофейных! И млеет от восторга, сжимается от ужаса, обливается наслаждением! И голод, представьте себе, отступает. Увы, на час двадцать. Чтобы потом с новой силой вонзить свои острые шила в пустое брюхо.

Я решил тогда оказать физическое сопротивление этому голоду. Не поехал ни на троллейбусе, ни на трамвае. Тем более для этого требовались три пересадки, а значит, троекратные расходы. А пошёл пешком. Ничего особенного, просто голодный переход по большому городу. Дело было днём, и я успел застать тётю Дусю, правда, уже складывающую в ридикюль свои манатки. Но супчик вовсе не заслонил потрясшее меня впечатление.

Изредка, но мы выбирались в чудную уральскую оперетту. Странные ассоциации: на весёлые спектакли лучше всё-таки голодным не ходить. Радость плохо добирается до души. Тут сытость полезна.

Была и ещё одна высокая стезя: изобразительное искусство. Я не забыл сообщения достоютимого Зиновия Абрамовича, что у нашего Бовы вышла монография про каслинское литьё и, углядев её в книжном, не с первого подхода, подсэкономив капиталы, но всё-таки её укупил. Читал с удовольствием, немало, между прочим, просветившись. После чего подошёл к замечательному искусствознатцу и попросил автограф. Глазки у него вылушили явное удовлетворение, он просьбу исполнил легко и ловко, размашисто подписавшись, а я заметил ему, что в нашем доме, у бабушки, есть небольшая, но тяжёлая и чёрная корова, похожая на ту, которая имеется на картинке в книге, и предположил: а может, она тоже каслинская? Он радостно закивал мне, подтверждая догадку, с интересом взгляделся в меня ещё и ещё, выяснил мою фамилию и пригласил в картинную галерею: там открывалась выставка этого чуда уральских металлургов — ведь отливали такие фигуры из чугуна. Почему они и получались чёрными.

В клуб этот искусствоведческий мы с братвой затесались крайне скромно, прислонясь к стенам, в задних рядах, любуясь нашим Помяновским, который выглядел щеголеватым петухом с бабочкой у горла. Как тогда, на Моцарте.

Нас, конечно, он не видел. А если и видел, внимания не достаивал, ибо после доклада его окружил сонм бородачей и старушек, не нам чета.

Мы же, непонятно почему, проголодались, да и чугунные фигуры, включая чёрного Дон Кихота, не очень завораживали моих друзей, кроме Вовки Потникова. Приставший к нашей экскурсии почти случайно, он просто сиял от восторга. Скуластый от рождения и, как все мы, совершенно не сытый, отчего скулы выпирали, как у узника Освенцима, Вовка своей улыбкой — со стороны-то казавшейся неуместной, даже издевательской над всеми этими музейными залами — походил на что-то неуравновешенное, даже опасное. И уходить из залов не желал.

Возникла лёгкая перепалка, мои близкие стремились к еде, я опасался за Потникова, и компания раскололась. Мы прошлись по залам и раз, и два. Я обнаружил железную корову, похожую на бабушкину. Потом мы с Вовкой удалились в залы живописи, и он всё вздыхал, повторяя, в общем, банальность:

— Ничего-то мы не знаем! Ничегошеньки!

Мне оставалось соглашаться. На выходе, которым так или иначе заканчивается всякая экскурсия, Вовка застрял у киоска. В ту пору даже и подумать нельзя было о сверкающих буклетах и солидно-матовых альбомах. Их просто выпускали очень мало. Да и на какие шиши мы бы стали их обретать?

Потому Вовка и споткнулся о доску, на которой, прижатые незамысловатой резиночкой, стояли маленькие, в почтовую карточку, репродукции великих творений мира. Это, впрочем, и были почтовые карточки. На обороте указывалось, кому и от кого, да ещё и квадратик был для почтовой марки. А на другом обороте — всемирное чудо!

Позвякав грошами в кармане, мы быстро сговорились, что для начала познания надо изучить искусство именно русское, а до зарубежного доберёмся позже, со стипенди. И мы купили вкладчину штук двадцать скромных полиграфических напоминаний о русской классической живописи. По дороге осмотрели их повнимательнее, в трамвае Вовка Постников сложил искусство в колоду, и стал показывать мне по картинке, испрашивая, как называется и что за автор. Я его спросил без лукавства:

— А ты — чего? Рисовать умеешь?

Он не умел. И никто никогда в его роду ни о чём таком совершенно не думал.

— Но надо же когда-то? — спросил он меня, глядя в упор. — И кому-то?

Сначала этот эпизод с картинной галереей отошёл в туман, подзабылся. Но когда через год я оказался в общежитии, да ещё в одной комнате с Потниковым, да ещё и кровати наши оказались стык в стык друг к другу, он спросил меня, когда мы готовились ко сну, почистили зубы и ходили по комнате в трусах и майках:

— А ты это помнишь?

И вытащил пачку цветных открыток с репродукциями, теперь уже не только русской живописи. А в ней карточек триста, не менее.

Вовка сказал:

— Давай вот перед сном повторять их, понимаешь?

Я понимал. И мы принялись показывать друг другу эти карточки. Спрашивая по очереди, какой художник, как называется картина. Остальной народ поначалу над нами похихикивал, — а в комнате проживало ещё четверо, — и вдруг они проснулись. Требовали включить в испытание их.

Помню, засыпал, а во сне всё сменяли друг дружку эти чудные картины: Левитан, Куинджи, Саврасов. И ещё Ван Гог, Рембрандт, Пикассо. Та студенческая коллекция включала в себя всё без разбора, и это, пожалуй, было неверно по каким-нибудь высоким правилам. Но правила бывают и невысокие. И от этого не становятся хуже.

Мне и сейчас вдруг во сне, совершенно удалённом от времени и пространства моего студенчества, вдруг ворвётся иногда каким-то двадцать пятым кадром неведомая картина, автора которой я не помню. Ни с того ни с сего.

И утром я не могу понять, что со мной было. Но было!

*(Продолжение следует)*